

ЭТЬЕН ДЕ ЛА БОЭСИ  
РАССУЖДЕНИЕ  
о  
ДОБРОВОЛЬНОМ  
РАБСТВЕ

ЭТЬЕН ДЕ ЛА БОЭСИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ





ЭТЬЕН ДЕ ЛА БОЭСИ

РАССУЖДЕНИЕ  
о  
ДОБРОВОЛЬНОМ  
РАБСТВЕ

ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ  
Ф.А.КОГАН-БЕРНШТЕЙН



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА

Под общей редакцией Комиссии Академии Наук СССР  
по изданию научно-популярной литературы  
и серии „Итоги и проблемы современной науки“

Председатель Комиссии академик

**С. И. ВАВИЛОВ**

Зам. председателя член-корреспондент Академии Наук СССР  
**П. Ф. ЮДИН**

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Й Р Е Д А К Т О Р

*академик В. П. ВОЛГИН*

РАССУЖДЕНИЕ  
о  
ДОБРОВОЛЬНОМ  
РАБСТВЕ







Нет в многовластии блага; да будет единий правитель,  
Царь лишь единый...

говорит у Гомера Одиссей<sup>1</sup>, обращаясь к народу. Если бы он сказал только:

Нет в многовластии блага,

ничего больше не прибавив к этому, то это было бы сказано как нельзя лучше. По здравому рассуждению следовало сказать, что многовластие не может быть хорошо, поскольку и власть одного с того момента, как он приобретает титул самодержца, носит характер произвола и жестокости; но вместо этого он, совершенно наоборот, прибавил:

Да будет единий правитель,  
Царь лишь единый...

Следует, впрочем, извинить Одиссея, которому, возможно, пришлось тогда прибегнуть к такой речи, чтобы подавить мятеж в войске; я полагаю, что он сообразовал свои слова скорее с требованиями момента, чем истины. Но, по совести говоря, величайшее несчастье — зависеть от произвола властелина, относительно которого никогда не можешь знать, будет ли он добр, поскольку всегда в его власти быть дурным, когда он того захочет; что же касается господства многих правителей, то это означает быть в зависимости от числа их во столько же раз более несчастным.

Я не хочу в данный момент разбирать столь часто обсуждавшийся вопрос, а именно: «Не являются ли другие формы государственного

устройства лучшими, чем монархия?» Если бы я хотел заняться этим вопросом, то прежде чем решить, какое место должна занимать монархия среди других видов государств, я хотел бы знать, должна ли она вообще занимать какое бы то ни было место среди них. Действительно, трудно допустить, чтобы было хоть что-нибудь общественное при таком строев, при котором все принадлежит одному. Но этот вопрос я оставляю для другого раза; он потребовал бы особого рассмотрения и, наверное, повлек бы за собой тучу политических споров.

На сей раз я хотел бы лишь понять: как возможно, что столько людей, столько деревень, столько городов, столько народов нередко терпят над собой одного тирана, который не имеет никакой другой власти, кроме той, что они ему дают; который способен им вредить лишь постольку, поскольку они согласны выносить это; который не мог бы причинить им никакого зла, если бы только они не предпочитали лучше сносить его тиранию, чем противодействовать ему.

Поразительная вещь, конечно! Однако столь часто встречающаяся, что следует тем больше скорбеть и тем меньше удивляться, когда видишь, как миллионы людей, согнув выю под ярмо, самым жалким образом служат, не принуждаемые особенно большой силой, но будучи, как кажется, в некотором роде околдованными и зачарованными самым именем Одного, могущества которого они не должны бояться, ибо он ведь один, и качества которого они не могут любить, ибо по отношению к ним он свиреп и бесчеловечен.

Слабость, присущая нам, людям, заключается в том, что мы часто подчиняемся силе; приходится уступать, мы не можем быть всегда более сильными. Поэтому, если какой-нибудь народ вынужден сносить тиранию одного в силу завоевания, как это было, например, с Афинами при тридцати тиранах<sup>2</sup>, то следует не удивляться тому, что народ этот служит, а скорбеть о случившемся, или, вернее, не удивляться и не скорбеть, а стойко переносить зло и беречь себя для лучшей участии в будущем.

Природа наша такова, что обязанности взаимной дружбы отнимают значительную часть нашей жизни. Разумно любить добродетель, уважать высокие подвиги, быть благодарным за добро, откуда бы

оно ни исходило, и даже лишаться части нашего удобства для славы и выгоды того, кого мы любим и кто этого заслуживает. Поэтому, если жители какой-нибудь страны нашли такого выдающегося человека, который на опыте обнаружил большую прозорливость в деле охраны их, великую смелость в защите их и большую заботу в управлении ими, и если, исходя из этого, они привыкают ему повиноваться и доверяют ему в такой мере, что предоставляют ему некоторые преимущества, то я сомневаюсь, благоразумно ли такое поведение, поскольку его снимают с места, где он делал добро, и назначают туда, где он сможет делать зло. Но, разумеется, они не могут не проявлять благородства по отношению к нему и не могут бояться зла со стороны того, от кого до этого они видели только добро.

Но, боже милостивый, что это такое? Как это назвать, что это за бедствие? Что это за порок, или вернее, что за злосчастный порок,— когда мы видим, что бесконечное число людей не только повинуются, но служат, не только управляемы, но угнетены и порабощены тиранией так, что не имеют ни имущества, ни родных, ни жен, ни детей, ни даже самой жизни, словом, не имеют ничего, что они могли бы назвать своим, и терпят грабежи, распутство, жестокости не от войска, не от варваров, против которых следовало бы проливать свою кровь и жертвовать жизнью, но от одного человека. И притом не от какого-нибудь Геркулеса или Самсона, но от одного ничтожнейшего человечка, большей частью самого трусливого и самого расслабленного из всего народа, который привык не к пороху сражений, а скорее к песку турниров и который не только не способен управлять другими людьми, но сам находится в рабском услужении у самой ничтожной бабенки.

Как назовем мы это? Назовем ли мы это трусостью? Скажем ли мы, что те люди, которые служат такому человеку, подлецы и трусы?

Если бы двое, трое или четверо не защищались от одного, то это было бы странно, но во всяком случае возможно. И с полным правом можно было бы сказать, что дело здесь в недостатке храбрости.

Но если сто, если тысяча человек терпят тиранию одного, то не скажем ли мы, что они скорее не хотят, чем не осмеливаются напасть

на него, и что это не трусость, а скорее пренебрежение и презрение?

Но если мы видим, что не сто и не тысяча людей, а сто областей, тысяча городов, миллионы людей не нападают на того одного, со стороны кого даже наилучшее обращение состоит в том, чтобы превращать людей в своих слуг и рабов, то как назвать это? Трусость ли это?

Во всех пороках по их природе неминуемо есть некий предел, за который они не могут выходить. Двое и даже десять человек могут бояться одного, но тысяча, но миллионы, но тысяча городов, если они не защищаются от одного, то это не трусость, она не может дойти до этого, так же как и храбрость не может простираться до того, чтобы один человек штурмовал крепость, нападал на армию или завоевывал государство.

Что же это, следовательно, за уродливый порок, не заслуживающий даже названия трусости, порок, которому нельзя найти достаточно гнусного названия, который противен природе и назвать который отказывается язык?

Пусть поставят на одной стороне пятьдесят тысяч вооруженных людей и столько же на другой; пусть выстроят их в боевой порядок; пусть они сойдутся и начнут биться друг с другом: одни — свободные и борющиеся за свою свободу, другие — за то, чтобы ее у них отнять. Какой стороне можно предсказывать победу? Кто из них, думаете вы, с большей отвагой пойдет в бой? Те ли, которые в награду за свои усилия надеются сохранить свою свободу, или те, которые не могут ждать за нанесенные и принятые на себя удары никакого другого вознаграждения, кроме порабощения других?

Одни из них будут всегда иметь перед глазами свое счастливое прошлое и ожидание такого же благополучия в будущем. Они помнят не столько о тех испытаниях, которые им придется вынести, пока длится это недолгое сражение, сколько о том, что постоянно нужно будет переносить им, их детям и всему потомству.

У других же нет ничего, что вдохновляло бы их на борьбу, кроме слабого стимула жажды наживы, стимула, который рушится при пер-

вом же столкновении с опасностью и который не может быть столь пламенным, чтобы его не могла, как мне кажется, погасить малейшая капля крови, вытекающая из их ран.

В столь прославленных битвах Мильтиада, Леонида, Фемистокла<sup>3</sup>, которые происходили две тысячи лет назад и которые еще и по сей день свежи в памяти людей и живут в книгах так, как если бы это было вчера, в битвах, которые даны были в Греции во имя блага греков и в виде образца для всего мира, как вы думаете, что придало в этих битвах такому небольшому числу людей, какое составляли греки, не силу, а стойкость выдержать натиск такого количества судов, что само море, казалось, было обременено ими; как смогли они нанести поражения такому множеству народов, когда одних лишь командиров вражеских армий было больше, чем греков?

Что же это было, как не то, что в эти достославные дни дело шло не столько о сражениях греков против персов, сколько о победе свободы над угнетением, о победе вольности над властолюбием.

Изумительные вещи приходится слышать о храбости, которую свобода порождает в сердцах тех, кто ее защищает. Но кто поверил бы тому, что повседневно происходит с людьми во многих странах, где один человек угнетает сто тысяч городов и лишает их свободы? Кто поверил бы этому, если бы он только слышал об этом, а не видел своими глазами, и если бы это происходило только в чужих и отдаленных странах и он знал бы об этом только понаслышке? Кто не подумал бы, что это скорее всего измышления и выдумки, а не подлинная действительность? Тем более, что с этим единственным тираном незачем сражаться, его незачем побеждать, он побежден сам по себе, только бы страна не соглашалась на свое рабство. Не нужно ничего отнимать у него, нужно только ничего ему не давать. Стране не нужно делать никаких усилий для себя, только бы она ничего не делала против себя.

Ведь народы сами позволяют надевать на себя узду; стоит им перестать служить, и с их порабощением будет покончено. Народ сам отдает себя в рабство, он сам перерезает себе горло, имея

выбор между рабством и свободой, народ сам расстается со своей свободой и надевает себе ярмо на шею, когда он сам не только соглашается на свое порабощение, но даже ищет его.

Если бы ему стоило чего-нибудь восстановление своей свободы, я бы его не понуждал к этому; хотя для человека нет ничего более дорогое, чем восстановить себя в своем естественном праве и, так сказать, из животного стать человеком. Но я не требую от него такой смелости, хотя, признаюсь, не знаю, как можно предпочитать сомнительную безопасность жалчайшего существования даже слабой надежде на спокойную и счастливую жизнь. Но если для получения свободы ему нужно только захотеть ее, если нужно только простое желание, то неужели найдется такой народ в мире, который считал бы ее купленной чересчур дорогой ценой, раз он может добиться ее одним только желанием? Найдется ли народ, который пожалел бы затратить свою волю ради восстановления блага, которое он должен быть готов выкупить ценой своей собственной крови? Ибо, лишившись свободы, все честные люди должны считать свою жизнь невыносимой и смерть спасительной.

Как из небольшой искры разгорается большое и все усиливающееся пламя и чем больше дров находит огонь, тем ярче он готов гореть; и наоборот, если даже не лить воды, чтобы потушить его, а просто больше не подкладывать дров, то, не имея что пожирать, огонь пожирает сам себя, теряет силу, гаснет и перестает быть пламенем, точно так же и тираны: чем больше они грабят, чем больше требуют, чем больше разоряют и разрушают, чем больше им дают и служат, тем они становятся все сильнее и ненасытнее и более готовыми все уничтожать; тогда как если им ничего не давать, если им не повиноваться, то они без всякой борьбы и сражения остаются ни с чем, падают сраженными; они становятся ничем, совершенно подобно тому, как дерево, корни которого не получают больше влаги и пищи, ссыхается и превращается в сухие и мертвые ветви.

Смельчаки, чтобы приобрести желаемое благо, не боятся опасности; рассудительные люди не отказываются ради этого от усилий, только трусливые и закосневшие в своем зле люди не умеют ни вы-

носить тягот, ни восстанавливать свое потерянное благо. Они ограничиваются тем, что желают его, но вследствие своей трусости лишены добродетели добиваться его, хотя и у них остается естественное стремление иметь его.

Это желание присуще как мудрым, так и глупым, как храбрецам, так и трусам. Все они желают приобрести то, что может сделать их счастливыми и довольными. И к одному только людям, я не могу понять почему, недостаточно стремятся — к свободе. Между тем свобода — это такое великое и прекрасное благо, что как только она утрачена, все бедствия приходят чередой, и даже те блага, которые остаются, без нее теряют всякий вкус и всякую сладость, будучи испорчены рабством.

Свободы, ее только, не хотят люди и, как мне кажется, лишь потому, что если бы они действительно пожелали ее, то они ее имели бы; люди как бы только потому отказываются от этого прекрасного приобретения, что оно слишком легко достижимо.

Бедные, несчастные и неразумные народы, народы, закосневшие в своем зле и слепые к своему собственному благу! Вы позволяете отнимать у вас лучшую часть ваших плодов, разорять ваши поля, обкрадывать ваши дома и расхищать ваше дедовское и отцовское достояние. Вы живете так, как будто все это принадлежит не вам и как будто вы почитаете за большое счастье для себя как бы держать в наем свое имущество, даже свои семьи и самые свои жизни.

И все эти бедствия, это разорение и опустошение исходят не от врагов, но от того единственного врага, которого вы сами делаете таким могущественным, как он есть, за которого вы бесстрашно идете на войну, ради величия которого вы не отказываетесь жертвовать жизнью.

Между тем тот, кто так властвует над вами, имеет только два глаза, всего две руки, одно тело и ничего такого, чего не имел бы самый простой человек из бесчисленных ваших городов, за исключением лишь того преимущества, которое вы сами ему предоставляете, — истреблять вас.

Откуда взял бы он столько глаз, чтобы следить за вами, если бы вы сами не давали их ему? Где он достал бы столько рук, чтобы наносить вам удары, если бы он не брал их у вас же? Или откуда взялись бы у него ноги, которыми он попирает ваши города, чьи они, если не ваши? Откуда была бы у него власть над вами, если бы вы не давали ее ему? Как он осмелился бы нападать на вас, если бы вы не были заодно с ним? Что он мог бы вам сделать, если бы вы не были укрывателями того разбойника, который грабит вас, сообщниками того убийцы, который убивает вас, если бы вы не были изменниками по отношению к себе самим?

Вы сеете для того, чтобы он уничтожал ваши посевы, вы обставляете и наполняете свои дома для его грабежей, вы растите своих дочерей для удовлетворения его похоти, вы воспитываете ваших сыновей с тем, чтобы он — и это лучшее из того, что он может им сделать — мог вербовать их для своих войн, чтобы он мог вести их на бойню, чтобы он делал их слугами своей алчности и исполнителями своих мщений. Вы надрываетесь в труде, чтобы он мог нежиться в своих удовольствиях и утопать в своих грязных и мерзких наслаждениях. Вы подрываете свои силы, чтобы сделать его сильнее и чтобы он мог еще туже держать вас в узде. И от всех этих бедствий, которых не стали бы терпеть и переносить даже животные, вы можете освободиться, если вы не то что попытаетесь избавиться, но лишь пожелаете это сделать. Решитесь не служить ему более — и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы бились с ним, нападали на него, перестаньте только поддерживать его, и вы увидите, как он, подобно колоссу, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги.

Правы врачи, советуя не прикасаться к неизлечимым ранам, и я боюсь, что поступаю неразумно, решаясь проповедывать народу, который давно утратил всякое понимание и который уже одним тем, что он больше не чувствует своей болезни, показывает, что она смертельна. Попытаемся же, если можно, установить, каким образом так укоренилось это упрямое желание находиться в порабощении, что даже сама любовь к свободе не кажется в настоящем время естественной.

Прежде всего не подлежит, я полагаю, никакому сомнению, что если бы мы жили по правилам и наставлениям, которые дала нам природа, то мы, естественно, повиновались бы своим родителям, подчинялись бы разуму и не были бы ничьими рабами. О повиновении, которым каждый из нас, без всяких других побуждений, кроме своего естественного, проникнут по отношению к своим родителям, свидетельствуют все люди и всяк за себя.

Что касается разума, то по вопросу о том, прирожден ли он или нет, ведутся ожесточенные споры между учеными и всеми философскими направлениями. В данном случае я, мне думается, не ошибусь, если скажу, что в нашей душе есть некое естественное семя разума, которое, если оно поддерживается добрым советом и обычаем, расцветает в добродетель и, наоборот, нередко, не будучи в состоянии противостоять окружающим порокам, чахнет и гибнет.

Но в чем нельзя сомневаться и что совершенно ясно и очевидно, это то, что природа — это орудие бога и наставница людей — создала нас всех одинаковыми и как бы по одному образцу, с тем чтобы мы все считали друг друга товарищами или, вернее, братьями. И если, наделяя нас своими дарами, она дала некоторым из нас известные физические и духовные преимущества по сравнению с другими, то она тем не менее не имела в виду посеять вражду между нами, она послала сюда, на землю, более сильных и более умных не с тем, чтобы они, как какие-то вооруженные разбойники в лесу, нападали на более слабых. Но следует скорее думать, что, наделив одних большими способностями, чем других, она хотела тем самым создать место для братской любви, чтобы у этой любви было где найти себе применение, поскольку одни в состоянии оказывать помощь, а другие нуждаются в ней.

И если эта добрая матерь-природа дала нам всем в качестве обиталища всю землю, поместив нас всех как бы в один и тот же дом, создала нас всех по одному и тому же образцу, чтобы каждый из нас мог видеть и узнавать себя в другом; если она всех нас наделила великим даром голоса и слова, чтобы еще более сблизить и сроднить нас и, благодаря общему и взаимному обмену мыслей, создать

у нас одни и те же желания; если она всеми средствами постаралась скрепить как можно сильнее узы нашего союза и сплотить наше общество; и если, наконец, она показала во всем, что она не только хочет объединить нас, но сделать нас всех единными,— то нет никаких сомнений, что все мы по природе свободны, так как все мы товарищи, и никому не может прийти в голову, что природа кого-нибудь из нас обрекла на рабство, между тем как она всех нас создала для товарищества.

Но, право, излишне обсуждать, естественна ли свобода, так как никого нельзя держать в рабстве, не причиняя ему вреда, и нет на свете ничего более противоречащего всегда разумной природе, чем несправедливость. Остается, следовательно, признать, что свобода естественна, и тем самым признать, по-моему, что нам от рождения свойственна не только свобода, но и стремление защищать ее. Однако если бы случилось, что мы усомнились бы в этом или до такой степени закоснели, что перестали бы понимать свое благо и свои естественные стремления, то в таком случае мне пришлось бы оказать вам заслуженную вами честь и предложить поучиться этому у диких зверей, которые покажут вам, каковы ваши природа и поведение.

Боже правый! Эти самые звери, если люди только окажутся не черезсур глухи, будут кричать им: да здравствует свобода! Ведь многие из них умирают сразу же, как только попадают в неволю. Подобно тому как рыба тотчас же умирает, оставшись без воды, точно так же умирают, не желая жить, и некоторые животные, лишившись своей естественной свободы. Если бы среди животных были какие-нибудь градации, то именно эти виды составили бы их благородное сословие. Другие животные, от малы до велика, когда их пытаются поймать, оказывают яростное сопротивление и отбиваются всеми силами: и клювом, и когтями, и рогами, и ногами, показывая этим достаточно убедительно, как они дорожат тем, что теряют; когда же они пойманы, то они обнаруживают столько явных признаков сознания своего несчастья, что ясно видно: плениение означает для них скорее прозябанье, нежели жизнь, и что они продолжают

живьe больше для того, чтобы изнывать по потеряной свободе, чем для того, чтобы довольствоваться своим рабством.

Чтó хочет сказать своим поведением слон, который, после того как он защищался до полного изнеможения и вот-вот должен быть пленен, не имея больше никаких способов оброняться, вонзает в дерево свои клыки и ломает себе зубы, что иное хочет он выразить этим, как не то, что великое желание сохранить свободу заставляет его обнаруживать ум и сметливость, внушает ему стремление откупиться от своих охотников ценой своих зубов и расквитаться с ними своей костью, заплатив, таким образом, выкуп за свою свободу?

Мы приучаем коня к службе чуть ли не со дня его рождения, но сколько бы мы его ни холили, он, когда наступает время укротить его, начинает кусать удила и вырывается при прикосновении шпор, как бы для того, чтобы хоть этими своими действиями показать, что он служит не по своей воле, но по нашему принуждению? Что, следовательно, надо сказать об этом?

Даже волы стонут под ярмом,  
И птицы в клетках жалуются,

как я выразился когда-то, забавляясь сочинением французских стихов. Ведь когда я пишу тебе, Лонга<sup>4</sup>, то я не боюсь вплести кое-что из этих моих стихов, которых я никогда тебе не читаю из-за того, чтобы ты, выказывая удовлетворение ими, не вселил в меня желания возгордиться ими.

Итак, все способные чувствовать существа ощущают зло порабощения и стремятся к свободе, поскольку даже животные, которые, хотя они и созданы, чтобы служить человеку, не могут привыкнуть покоряться иначе, как против воли. Что же это за зло, которое могло так извратить природу человека, поистине единственного существа, рожденного, чтобы жить свободно, и заставить его забыть о своей первоначальной свободе и о желании вернуть ее?

Существуют три рода тиранов: одни приобретают власть над государством по выбору народа, другие — с помощью вооруженной силы, трети — по наследству. Те, кто приобрел государство по праву

2 Этьен де Ла Бюэси

завоевания, ведут себя в нем, по принятому выражению, как в завоеванной стране. Те, кто родились государями, обычно не лучше первых, так как, будучи рождены и воспитаны в лоне тирании, они с молоком матери всасывают в себя естество тиранов и смотрят на находящийся под их началом народ, как на унаследованных рабов; и в зависимости от того, к чему они более склонны — корыстолюбивы ли они или расточительны, они распоряжаются государством, как своим наследством. Что же касается того тирана, которому сам народ отдал государство, то он, казалось, должен быть более сносен, и был бы, я полагаю, таким, если бы с того момента, как он видит себя превознесенным над всеми остальными и польщенный тем, что (по непонятным мне причинам) называют величием, он не принимал решения ни за что не расставаться с этим положением. Такой тиран обычно решает передать своим детям власть, которую предоставил ему народ, и — странное дело — как только эти властствующие по воле народа тираны примут такое решение, они во много раз превосходят всех других тиранов всякого рода пороками и даже жестокостями. Они не видят иных средств упрочить свою тиранию, как еще более усилить порабощение и настолько отучить своих подданных от всякого проявления свободы, чтобы суметь заставить их расстаться с ней, хотя память о ней еще совсем свежа.

Так что, говоря правду, хотя я и вижу некое различие между этими тремя родами тиранов, но в сущности никому из них нельзя отдать предпочтения, и хотя они достигают власти различными путями, однако способ управления у них всегда один и тот же. Властвующие по выбору тираны обращаются со своими подданными, как если бы это были быки, которых они взялись укротить. Завоеватели смотрят на них, как на свою добычу. Наследственные тираны обращаются со своими подданными, как со своими естественными рабами.

Но представим себе, что в наше время родилось несколько совсем новых людей, не привыкших к порабощению и не избалованных свободой, не имеющих представления ни о том, ни о другом, даже не знающих самых этих названий; и вот, если бы этим людям пред-

ложили одно из двух, либо быть рабами, либо жить свободно, чтобы они выбрали? Нет никаких сомнений, что они предпочли бы повиноваться только разуму, а не произволу одного человека. Но это только в том случае, если бы они не принадлежали к тем израильтянам, которые без всякого принуждения и без всякой необходимости создали себе тирана<sup>5</sup>. Историю этого народа я не могу поэтому читать без досады, доходящей у меня до того, что я делаюсь бесчеловечным и даже радуюсь тем бесчисленным несчастьям, которые они накликали этим на себя.

Но, разумеется, для того чтобы люди, поскольку они остаются людьми, позволили себя поработить, необходимо одно из двух: либо их надо принудить к этому, либо они должны быть обмануты. Они могут быть вынуждены к этому иноземным оружием, как это случилось, например, со Спартой или с Афинами, завоеванными Александром Македонским, или в результате борьбы политических группировок, как это имело место еще ранее с теми же Афинами, попавшими в руки тирана Писистрата<sup>6</sup>. Когда же люди теряют свободу, будучи обмануты, то часто виной обмана оказываются не другие, а они сами. Так было с населением Сиракуз, главного города Сицилии (который теперь, как говорят, называется Сарагосса)<sup>7</sup>, которое, изнывая под бременем войн и опрометчиво помышляя лишь об отражении грозившей ему в этот момент опасности, поручило Дионисию<sup>8</sup> командование войском, не заботясь о том, что оно дало этим ему такую власть, что этот человек, вернувшись победителем, повел себя так, как если бы он победил не врагов, а своих собственных сограждан, и произвел себя из военачальников в короли, а из королей в тираны.

Невероятная вещь, но с того времени, как народ порабощен, он так внезапно и полностью забывает свою свободу, что его трудно разбудить для обратного отвоевания ее. Он служит так охотно и с такой готовностью, как если бы он не потерял свою свободу, а выиграл свое рабство. Правда, что вначале люди служат по принуждению и будучи побеждены силой, но следующее поколение, приходящее им на смену, никогда не видавшее свободы и не знающее, что

это такое, служит уже без сожаления и добровольно выполняет то, что их предшественники делали только по принуждению. Вот почему люди, рожденные под игом и воспитанные в рабстве, принимают за естественное состояние то, в котором они родились; они не заглядывают вперед, а довольствуются тем, что живут при тех же условиях, при которых они родились, и не помышляют о том, чтобы добиваться иных прав, или иных благ, кроме тех, которые они нашли. И тем не менее нет столь расточительного и ленивого наследника, который хоть когда-нибудь не захотел бы заглянуть в свои акты наследства, чтобы убедиться, всеми ли оставленными ему правами он пользуется и не отняли ли чего-нибудь у него самого или у его предшественников. Однако привычка, которая вообще имеет над нами большую власть во всем, ни в чем, пожалуй, не обнаруживает так своего силу, как в том, чтобы приучать нас служить и с легкостью проглатывать и не находить горьким яд нашего рабства, подобно тому, как Митридат, говорят, постепенно приучал себя к яду<sup>9</sup>.

Нельзя отрицать, что и природа имеет над нами немалую власть, увлекая нас куда ей угодно и заставляя нас обнаруживать хорошие или дурные склонности, и все же следует признать, что она имеет над нами меньшую власть, чем привычка: ибо природные склонности, как бы хороши они ни были, утрачиваются, если их не поддерживать, и воспитание всегда изменяет нас по-своему, в ту или иную сторону, несмотря на природные данные.

Семена добра, которые влагает в нас природа, столь малы и столь хрупки, что не выносят и малейшей дозы плохого питания, при котором они не развиваются, а скорее вырождаются, чахнут и гибнут; точно так же как плодовые деревья имеют каждое свои природные особенности, которые они сохраняют, если их предоставляют самим себе, но сразу же их утрачивают и приносят не свои естественные, а совсем иные плоды, как только им начинают делать прививки. Всякая трава также имеет свои природные свойства и качества, и тем не менее погода, мороз, почва или рука садовника могут значительно способствовать ее росту, либо ослаблять его; одно и то же растение так выглядит в одном месте, что его трудно узнать в другом.

Кто видел венецианцев, горсточку людей, живущих так свободно, что худший из них не захотел бы быть государем над всеми; венецианцев, которые как по природе своей, так и по своему воспитанию не признают другой чести, кроме соревнования в том, кто даст лучший совет и более бережно сумеет охранить свободу; венецианцев, которые так приучены с колыбели, что они ни за что не возьмут всех благодеяний мира в обмен на хоть бы малейшую часть своей свободы; кто видел — повторяю я — этих людей и после этого переберется в земли того, кого называют великим султаном, и там увидит людей, которые только того и хотят, что находится у него в порабощении, и которые жертвуют жизнью, чтобы поддерживать его власть, — поверит ли он, что у тех и других одна и та же природа, и не покажется ли ему скорее всего, что он из человеческого общежития попал в заповедник?

Рассказывают, что законодатель Спарты Ликург<sup>10</sup>, пожелав показать лакедемонянам, что люди таковы, какими их делает воспитание, вырастил двух братьев — щенков одной и той же собаки, причем оба были вскормлены одним и тем же молоком, но только один из них вырос и разжирел на кухне, другой же привык носиться по полям под звуки охотничьего рога и трубы. Вслед за тем он вывел обоих щенков на открытое место и поставил между ними горшок с похлебкой и зайца. Одна из собак тотчас же бросилась к горшку, другая погналась за зайцем. «А ведь они братья, — сказал Ликург, — дети одних родителей». И, исходя из этого, Ликург, при помощи своих законов и своих обычаев, так воспитал лакедемонян, что каждый из них предпочел бы умереть тысячью смертей, чем признать другого повелителя, кроме разума и закона.

Мне приятно напомнить разговор, произошедший некогда между одним из любимцев великого персидского царя Ксеркса и двумя лакедемонянами. Когда Ксеркс снаряжал свою огромную армию для завоевания Греции<sup>11</sup>, он разоспал послов по греческим городам, требуя у них «воды и земли»: таков был обычай персов предлагать городам сдаться. Ни в Афины, ни в Спарту Ксеркс не послал послов, так как тех, кого послал Дарий, его отец, афиняне и спартанцы

бросили — одних в колодцы, других в ямы, говоря, чтобы они доставали себе там сколько угодно воды и земли для своего государя. Афиняне и лакедемоняне и слышать не хотели, чтобы хоть единственным словом покушались на их свободу. Спартанцы опасались, однако, что, поступив таким образом, они навлекли на себя гнев богов, в особенности Талфибия<sup>12</sup>, бога вестников. Поэтому для умиления их они решили послать к Ксерксу двух своих граждан: пусть они явятся к нему и пусть он сделает с ними что захочет и, таким образом, расквитается за послов своего отца, которых они убили.

Два спартанца, один по имени Спертий, другой — Булис, добровольно вызвались расплатиться за это дело<sup>13</sup>. Они действительно отправились к Ксерксу и прибыли по пути во дворец к персу Гидарну, который был правителем царя во всех приморских городах Азии. Он принял их весьма радушно, устроил в их честь большой пир и после многих речей, переходя от одной темы к другой, спросил, почему они так упорно отвергают дружбу царя. «Спартанцы,— сказал он им,— взгляните на меня и убедитесь на моем примере, как царь умеет ценить достойных людей, и подумайте о том, что если бы вы принадлежали ему и он узнал бы вас, то каждый из вас был бы владыкой какого-нибудь греческого города». — «В этом деле, Гидарн,— ответили ему лакедемоняне,— ты не можешь дать нам доброго совета, так как ты не взвесил его с обеих сторон. Ибо одно благо, которое ты нам обещаешь, ты испробовал, но другое, которым наслаждаемся мы, осталось тобой не изведанным. Ты знаешь, что значит милость царя, свободы же ты еще никогда не испытал, ты не знаешь ее вкуса, не знаешь, как она сладка. Ибо, если бы ты ее вкусиł, то ты сам посоветовал бы нам защищать ее не только копьями и щитами, но и зубами и когтями».

Только спартанец мог дать такой ответ, но и тот, и другой — и спартанец, и перс — говорили в соответствии с тем, к чему они были приучены. Ведь никак невозможно было, чтобы перс сожалел о свободе, которой он никогда не испытал, и равным образом лакедемонянин не мог согласиться на порабощение, испробовав свободу.

Катон Утический<sup>14</sup>, будучи ребенком и находясь еще в обуче-

ний, часто приходил к диктатору Сулле: дверь дома Суллы была для него всегда открыта как в силу его происхождения, так и потому, что они были близкими родственниками. Катон всегда находился в сопровождении своего учителя, как это принято было с детьми из хороших домов. Катон заметил, что во дворце Суллы, в присутствии Суллы или по его повелению, одних заключали в тюрьму, другим выносили приговоры, одних подвергали изгнанию, других вешали, один требовал конфискации имущества какого-нибудь гражданина, другой — головы, словом, все здесь совершалось не как у правителя города, а как у тирана своего народа, и это был не дворец правосудия, а застенок тирании. «Почему вы не даете мне книжала? — спросил тогда юноша своего учителя. — Я спрячу его под платье. Я часто вхожу в комнату Суллы, когда он еще не встал с постели, рука моя достаточно тверда, чтобы освободить от него город». Вот поистине характерная для Катона речь: таков был с юных лет этот человек, достойный своей смерти. И пусть нам не назовут ни его имени, ни его страны, пусть расскажут только как есть этот факт — и он сам будет говорить за себя, и каждый догадается, что он был римлянин и родился в Риме, и именно во времена римской свободы.

Но к чему я веду эту речь? Разумеется, не к тому, чтобы сказать, что дело в стране или в определенном месте, ибо во всех странах и во всяком воздухе порабощение противно, а свобода радостна; я говорю это, потому что, по-моему, следует пожалеть тех, которые родились с ярмом на шее; но надо также простить и извинить подобных людей, ибо они никогда не видали даже и тени свободы и поэтому, совершенно не изведав ее, не сознают своего зла — быть рабами.

Если бы действительно существовала страна вроде той страны киммерийцев, о которой рассказывает Гомер<sup>15</sup>, где солнце светило бы по-иному, чем у нас, и где по прошествии шести светлых месяцев оно оставляло бы людей во мраке и не возвращалось бы к ним в течение целого полугодия, то удивились ли бы мы, что родившиеся во время этой долгой ночи и никогда не видевшие света привыкли бы к мраку, в котором они выросли, и не стремились бы к свету, хотя и слышали о солнце? Ведь никто не сожалеет о том, чего он никогда

не имел; сожаление приходит лишь вслед за утраченным удовольствием, и всегда бывает так, что к сознанию зла примешивается воспоминание о минувшем благе. Для человека естественно быть свободным и желать быть им, но вместе с тем природа его такова, что он привыкает к тому, к чему он приучен.

Скажем поэтому, что человек привыкает ко всем тем вещам, к которым он приучен, но для него естественно только то, к чему влечет его непосредственная и неиспорченная природа.

Итак, первой причиной добровольного рабства является привычка, та привычка, в силу которой самые лучшие кони сначала грызут свои удила, а потом тешатся ими, в силу которой кони сначала рвутся из-под седла, а под конец, одетые в доспехи, важно гардуют в своей сбруе. Люди утверждают, что они всегда были в порабощении, что так жили их отцы. Они полагают, что должны переносить зло, и всякими примерами заставляют себя верить в это. Даиньостью они оправдывают власть тех, кто их тиранит, между тем как в действительности никакая давность не дает права причинять зло и лишь усиливает злодеяние.

Однако всегда находится известное число людей, более одаренных от природы, которые, чувствуя бремя ига, желают свергнуть его и никогда не могут смыкнуться с порабощением. Эти люди, как Улисс, который как на море, так и на суше тосковал по дыму своего родного очага, никогда не могут забыть о своих естественных правах и не вспоминать о первоначальной свободе своих предков. Обладая ясным пониманием и прозорливым умом, они не довольствуются, подобно невежественной толпе, только тем, чтобы видеть, что у них под ногами, но хотят знать, что находится позади и что впереди них. Они вспоминают о прошлом лишь для того, чтобы по нему судить о будущем и мерить им настояще. Имея от природы хорошо устроенные головы, они еще отшлифовали свой ум образованием и наукой. И эти люди, даже если бы свобода была полностью утрачена и изгнана из мира, все же представляли бы себе ее, ощущали бы ее мысленно и все еще наслаждались бы ею. Ибо рабство им всегда не понутру, чем бы его ни скрашивали.

Турецкий султан догадался об этом: он понял, что книги и науки более всего дают людям возможность узнать себя и возбуждают ненависть к тирании; говорят, что в его владениях есть только такие ученые, которые ему нужны. Но обычно люди, сохранившие, несмотря на прошедшее время, верность свободе, как бы они ни были многочисленны, при всей их любви и рьяной приверженности к свободе не имеют никакого влияния, ибо они не знают друг о друге. И это потому, что, находясь под властью тирана, они, при полном отсутствии свободы что-либо делать, говорить и даже думать, остаются совершенно изолированными в своих помыслах. Таким образом, бог насмешки Мом не зря издевался, когда порицал Вулкана за то, что тот не сделал в созданном им человеке небольшого окошечка в сердце, через которое можно было бы читать его мысли<sup>16</sup>. Рассказывают, что когда Брут и Кассий предприняли попытку освободить Рим, а тем самым и весь мир, то они не хотели включить в свой состав Цицерона<sup>17</sup>, этого великого приверженца общественного блага,— если он таковым когда-либо был! — ибо они считали его дух слишком слабым для такого высокого подвига; они верили в его добрую волю, но не были уверены в его мужестве.

Всякий, кто захочет поразмыслить о действиях прошлого и заглянуть в анналы древности, убедится, что немного было или совсем не было примеров таких лиц, которые не преуспели бы в деле освобождения своей дурно управляемой и находящейся в плохих руках страны, если оно предпринято было с серьезным, честным и искренним намерением. Он убедится и в том, что сама свобода, которая должна была народиться, помогала их усилиям. Гармодий и Аристогитон<sup>18</sup>, Трасибул<sup>19</sup>, Брут Старший<sup>20</sup>, Валерий<sup>21</sup> и Дион<sup>22</sup>, так как они преисполнены были добродетельных намерений, успешно выполнили их: в таких случаях добрая воля почти никогда не терпит неудачи. Брут Младший и Кассий<sup>23</sup> успешно положили конец рабству, но при восстановлении свободы оба погибли. Однако конец их не был жалок. В самом деле, каким святотатством было бы сказать, что было хоть что-нибудь жалкое в жизни этих людей, как и в их смерти; напротив, их гибель нанесла огромный ущерб: она привела к длительным

бедствиям и к полному уничтожению республики, которая была как бы погоронена вместе с ними. Другие, последовавшие за этим попытки, направленные против римских императоров, были лишь заговорами честолюбцев, крах которых недостоин сожаления, ибо легко убедиться, что они стремились не уничтожить корону, но возложить ее на другого, они замышляли изгнать тирана и сохранить тиранию. Подобным людям я первый не пожелал бы успеха, и я рад, что они своим примером показали, что не следует злоупотреблять священным именем свободы для прикрытия низких замыслов.

Но, возвращаясь к прерванной нити рассуждения, следует сказать, что главная причина, по которой люди добровольно отдаются в рабство, состоит в том, что они рождаются рабами и в рабстве воспитываются. Из этой причины вытекает и другое следствие, а именно: находясь под властью тиранов, люди легко становятся трусливыми и расслабленными. Знанием этого я крайне обязан великому отцу медицины Гиппократу, обратившему на это внимание и соответственно трактовавшему это явление в своей книге «О болезнях»<sup>24</sup>. Впрочем, этот человек вообще был наделен выдающимся духом и ясно обнаружил это, когда великий царь хотел привлечь его к себе щедрыми дарами и обещаниями<sup>25</sup>. Он ответил ему напрямик, что было бы против его совести взяться лечить варваров, убивавших греков, и преданно служить своим искусством тому, кто стремится поработить Грецию. Письмо, которое он послал ему, можно и сейчас найти в его сочинениях, оно навсегда останется свидетельством его благородства и мужества.

Не подлежит, таким образом, сомнению, что вместе со свободой заодно утрачивается и доблесть. Порабощенный народ не находит никакой радости в борьбе и не стремится к ней: он идет на опасность как бы связанный и совершенно одепенелый, как бы находясь на поводу, он отнюдь не чувствует, чтобы в нем кипела жажда свободы, которая заставляет презирать опасность и внушает желание сискать себе честь и славу храброй смертью среди своих товарищней. Люди свободные стремятся сделать как можно больше для общего блага; каждый в меру своих сил старается сделать все возможное;

они все хотят иметь свою долю либо в беде поражения, либо в благе победы. Напротив, люди порабощенные утрачивают не только этот воинственный пыл, но вдобавок и всякую энергию во всех прочих вещах, они слабы, малодушны и не способны ни на какие подвиги. Тираны хорошо знают это, и, видя эту перемену в людях, они всячески содействуют тому, чтобы люди еще больше теряли человеческий облик.

Ксенофонт<sup>26</sup>, замечательный, первоклассный греческий историк, написал книгу, в которой он вывел Симонида, обсуждающего с сиракузским тираном Гиероном заключения тирана. Эта книга полна метких и важных указаний, которые, на мой взгляд, как нельзя более убедительны. Да будет угодно богу, чтобы все тираны мира имели эту книгу перед глазами и чтобы она служила им зеркалом! Я не сомневаюсь, что они узнали бы в ней свои собственные язвы и немного устыдились бы своих мерзких дел. Эта книга рассказывает о мучениях тиранов, которые, причиняя всем зло, вынуждены всех бояться. Среди прочих вещей Ксенофонт говорит, что дурные государи пользуются для своих войн наемными чужеземцами, так как они не решаются дать оружие в руки своим гражданам, которым они причинили столько зла. Были, конечно, и хорошие государи, которые брали к себе в наемники иноземцев; так поступали даже некоторые французские короли и в былье времена еще чаще, чем в настоящее время, но они делали это с другой целью, а именно — щадя жизни своих подданных и не жалея денег ради сохранения людей. Это, я думаю, имел в виду великий африканец Сципион<sup>27</sup>, сказав, что он предпочитает спасение жизни одного своего гражданина поражению ста чужеземцев.

Тиран никогда не считает свою власть достаточно прочной, и поэтому он старается, чтобы под его властью не оставалось ни одного достойного человека, так что к тирану с полным правом могут быть применены слова Теренция, вложенные им в уста Фрасона<sup>28</sup>, хваставшего тем, что он однажды сказал командующему слонами:

Не тем ли ты гордишься,  
Что командуешь скотами?

Хитрость тиранов, состоящая в том, чтобы всячески оглулять своих подданных, особенно наглядно выступает на примере того, что сделал Кир с лидийцами, захватив столицу Лидии Сарды<sup>29</sup> и взяв в плен богатейшего государя Креза, которого он увел с собой. Получив сведения о восстании жителей Сард, Кир быстро справился с ними, но, не желая ни предавать разграблению такой прекрасный город, ни быть вынужденным постоянно держать в нем большой гарнизон, чтобы сохранять его за собой, он решил прибегнуть к великолепному средству обеспечить за собой город. Он устроил в нем дома терпимости, игорные дома, публичные игры и издал приказ, чтобы все жители пользовались всем этим. И этот способ оказался лучше всякого гарнизона, с этого времени ему уже не приходилось больше прибегать ни к одному выстрелу против лидийцев. Эти несчастные и жалкие люди забавлялись тем, что изоццрялись в придумывании различных новых игр, так что римляне самое слово «игра» произвели от их имени, и то, что мы называем «препровождение времени», «игра», они обозначали словом «ludi», как бы желая сказать «lydi».

Однако далеко не все тираны так откровенно заявляют о своем желании развращать своих подданных, но в действительности они под сурдинку большей частью делают то же самое, что он провозгласил открыто и провел в жизнь. В самом деле, природа простого народа, особенно многочисленного в городах, такова, что он подозрителен по отношению к тем, кто его любит, и доверчив и прост по отношению к тем, кто его обманывает. Не думаю, чтобы нашлась какая-либо птица, которая лучше бы ловилась на приманку, или рыба, которая скорее бы шла на крючок, чем все народы попадают в рабство из-за малейшего перышка, которым им, как говорится, помажут по губам; так что приходится удивляться, как легко они поддаются, лишь только их пощекочут.

Театры, публичные игры, представления, фарсы, зрелища, гладиаторы, невиданные животные, медали, картины и тому подобные глупости — таковы были у античных народов приманки рабства, цена их свободы и оружие тирании. Таковы были приемы, такова была прак-

тика, таковы были приманки, применявшиеся античными тиранами для удержания подданных под своим ярмом. Таким образом, народы, сбитые с толку этими развлечениями, увеселяемые пустыми забавами, устраиваемыми перед их глазами, привыкали к рабству так же простодушно,— но только с несравненно худшими последствиями! — как малые дети, которые выучиваются читать лишь для того, чтобы знать содержание ярко раскрашенных картинок в книжках.

Римские тираны придумали еще другой способ — часто угощать простой народ, умело совращая эту чернь, которая легче всего поддается соблазнам желудка: самый умный и развитой из ее числа не согласился бы пожертвовать своей миской супа ради восстановления свободы платоновской республики. Тираны под видом щедрости раздавали какой-нибудь модий<sup>30</sup> пшеницы, какой-нибудь сектарий<sup>31</sup> вина или какую-нибудь сестерцию<sup>32</sup>, и тогда можно было слышать удручающие вопли: «Да здравствует король!» Эти тушицы не догадывались, что они получали таким образом часть своего же собственного добра и что тиран мог давать им даже и эту малость, лишь предварительно отняв ее у них же. Тот или иной из них мог подобрать сегодня сестерцию и наесться до отвала на публичном празднестве, благословляя Тиберия<sup>33</sup> и Нерона<sup>34</sup> за их несравненную щедрость, чтобы завтра, вынужденный отдать свое имущество алчности этих щедрых императоров, своих дочерей — их похоти и самую свою кровь — жестокости этих щедрых императоров, оставаться безмолвным, как камень, и неподвижным, как чурбан.

Простой народ всегда таков: он жаден и падок на удовольствия, которые он не может получить честным путем, и бесчувствен к несправедливости и страданиям, которые нельзя выносить без потери чести.

В настоящее время нет человека, который, заслышав о Нероне, не был бы охвачен отвращением при самом произнесении имени этого отвратительного злодея, этого мерзкого и грязного чудовища. И вот, когда он умер, этот палач, этот злоумышленник, этот дикий зверь, жизнь которого была так же гнусна, как и его смерть, то благородный римский народ, вспоминая о его празднествах и играх, был столь

опечален, что готов был носить по нем траур. Так рассказывает об этом Корнелий Тацит<sup>35</sup>, компетентный и надежный автор, один из наиболее достоверных. Это не покажется странным, если вспомнить, что этот же самый народ проделал раньше в отношении Юлия Цезаря, отменившего его законы и его свободу. В этом человеке, как мне кажется, не было ничего стоящего, ибо даже его столь хваленая гуманность была хуже жестокости самого свирепого из когда-либо существовавших тиранов, так как в действительности этой своей отравляющей мягкостью по отношению к римскому народу он лишь подслащал его рабство. Между тем после его смерти этот народ, у которого еще был на устах вкус его пирор, а в памяти свежи воспоминания о его щедрости, сначала бросил в костер, на котором сжигались его останки, скамьи форума, а затем воздвиг ему колонну как «Отцу народа»<sup>36</sup> (так гласила надпись на капители) и оказал ему, мертвому, такие почести, которых не заслуживал ни один человек на свете, разве только его убийцы.

Эти римские императоры не забывали также обычно принять титул народного трибуна как потому, что это звание считалось священным, так и потому, что оно было установлено с одобрения государства для защиты и охраны народа. Благодаря этому они добивались большого доверия у народа, как если бы народ должен был полагаться на звание, которое они носили, а не ощущать на себе благотворительные последствия его. В наши дни по их стопам идут те, которые не совершают ни одного злодеяния, даже самого крупного, не предпослав этому каких-нибудь прекрасных слов об общественном благе и общем благосостоянии. Тебе ведь хорошо знакома, Лонга, та формула, которую они искусно умели пользоваться в известных местах; впрочем, в большинстве случаев не может быть искусства там, где есть столько бесстыдства.

Ассирийские цари, а вслед за ними и мидийские по возможности реже показывались народу, желая внушить ему, что в них есть нечто сверхчеловеческое, и стараясь, чтобы народ пребывал в этом заблуждении, ибо люди охотно преувеличивают в своем воображении то, чего они не могут увидеть. Таким образом, многие народы, до-

вольно долго находившиеся под ассирийским владычеством, при помощи этой тайны были приучены к порабощению и служили тем охотнее, чем меньше знали своего повелителя; иногда же они совсем не знали, есть ли он вообще, и все доверчиво боялись того, кого никто никогда не видал. Первые цари Египта показывались не иначе, как иногда с кошкой, иногда с веткой, иногда имея огонь на голове, и, маскируясь таким образом, творя разные чудеса, они при помощи этих необычных вещей внушали своим подданным известное уважение и удивление, тогда как людям не слишком раболепным и глупым эти вещи, как мне кажется, показались бы только забавными и смешными.

К каким только жалким средствам не прибегали тираны прошлых времен для утверждения своей тирании! Какими только уловками они не пользовались, всегда находя при этом достаточно падкий на эти обманы простой народ. Не было такой сети, в которую он тотчас же не попался бы; тиранам никогда ничего не стоило обмануть его, и они всегда тем легче порабощали народ, чем больше смеялись над ним.

Что сказать о другой лжи, которую народы древности принимали за чистую монету? Они твердо верили, что большой палец на ноге эпирского царя Пирра<sup>37</sup> делает чудеса и излечивает от болезней селезенки; они еще приукрасили эту басню, прибавив к ней, что после того, как тело Пирра было сожжено, этот палец уцелел от огня и остался невредимым.

Таким образом, одураченный народ сам сочиняет выдумки, чтобы впоследствии уверовать в них. Об этих чудесах писало множество людей, но из этих писаний ясно видно, что они были основаны на городских слухах и на пустой болтовне простого народа. Веспасиан, возвращаясь из Ассирии и находясь в Александрии, откуда он собирался направиться в Рим на завоевание империи, совершил чудеса: он исцелил хромых, вернул зрение слепым и сделал еще много подобных вещей, так что те, кто не в состоянии были разглядеть скрывавшийся за этим обман, были, на мой взгляд, более слепы, чем те, которых исцелил Веспасиан<sup>38</sup>.

Тираны сами поражались, как могут люди выносить человека, причиняющего им зло; поэтому они всячески старались прикрыться, как щитом, религией и приписать себе, если это было возможно, признаки божественности для поддержания своих злодеяний. Если верить пророчице Вергилия Сивилле, спустившейся с Энеем в подземное царство<sup>39</sup>, то Салмоне́й<sup>40</sup> за то, что он именно таким образом издевался над людьми и выдавал себя за Юпитера<sup>41</sup>, впоследствии расплачивался за это, и она увидела его в самой глубине ада.

Зрела и те, что даны Салмонею, страшные казни<sup>42</sup>,  
Пламени Иова и грому Олимпа сей подражая,  
Коней четверкой влеком и светоч в руке сотрясая,  
Грайский через народ и чрез город Элиды средней,  
Ехал ликуя, себе поклонений требуя божьих.  
Неподражаемый пламень небес и тучи, безумец! —  
Медью и стуком хотел заменить рогоногих он коней.  
Но всемогущий отец стрелу, облака сквозь густые,  
Ринул на светочи те, на огни он факелов оных  
Дымные и ниспроверг стремглав его в вихре огромном.

Но если Салмонею, только за его безрассудство, был оказан в ад подобный прием, то я полагаю, что те, которые намеренно злоупотребляли религией для прикрытия своих злых дел, понесут в нем еще более заслуженное наказание.

У нас во Франции в этих же целях пользовались лягушками, орифламмой, цветами лилии, сосудом со священным елеем<sup>43</sup>, служащим для помазания. Что касается меня, то, как бы там ни было, я не хочу высказывать по этому поводу недоверия, ибо ни мы, ни наши предки не имели до сих пор никаких оснований не верить этому. Наши короли всегда были так хороши в мирное время и так доблестны в военное, что хотя они рождаются королями, однако кажется, будто они созданы природой не как другие, а избраны самим всемогущим богом еще до своего рождения для управления и сохранения французского государства.

Однако, если бы даже это было и не так, я все же не хотел бы оспаривать истинности наших сказаний, ни слишком усердно их рас-

капывать, чтобы не лишить прелести этот прекрасный источник, из которого может так усиленно черпать наша французская поэзия, в настоящее время не вычурная, но как бы совершенно обновленная нашим Ронсаром, нашим Баифом, нашим Дюбелле<sup>44</sup>. Им мы обязаны огромными успехами французского языка, и я льщу себя надеждой, что греки и римляне скоро не будут иметь в этом отношении других преимуществ перед нами, кроме прав старшинства. Я, несомненно, нанес бы этим большой ущерб нашей поэзии,— я охотно пользуюсь этим словом, оно мне по душе, хотя многие и сделали ее вульгарной,— тем не менее я вижу достаточно людей, способных ее облагородить и вернуть ей ее былой блеск. Я говорю, что нанес бы поэзии большой ущерб, лишив ее в настоящее время прекрасных сказаний о короле Хлодвиге, которыми, как я предвижу, весело и во-всю будет наслаждаться муза нашего Ронсара в его «Франсиаде»<sup>45</sup>. Я знаю его величие, я ценю острый ум и изящество этого человека; он сумеет воспользоваться для своих целей орифламмой не хуже, чем, согласно Вергилию, римляне своими священными.

#### Щитами, упавшими с неба..<sup>46</sup>

Он сумеет использовать наш священный сосуд с елеем так же, как афиняне использовали корзины Эрехтея<sup>47</sup>, он прославит наши доспехи не хуже, чем они свою оливковую ветвь, которая, как они уверяют, по сей день хранится в храме Минервы<sup>48</sup>. Разумеется, было бы возмутительным с моей стороны желать разоблачить эти наши стариные книги и нападать на домен наших поэтов. Но, возвращаясь к невольно прерванной нити моего изложения, следует сказать, что ради утверждения своей власти тираны всегда старались приучить народ не только к рабству и повиновению, но и к благоговению. Однако все, что я до сих пор сказал о том, как тираны приучают людей служить им, касается простого и невежественного народа.

Но сейчас я перехожу к вопросу, который, на мой взгляд, составляет секрет и основу тирании. По-моему, глубоко ошибается тот, кто думает, что тираны охраняют себя алебардами, стражей и расстановкой

3 Этьен де Ла Босси

часовых; правда, они этим пользуются, но скорее как пугалом и больше для соблюдения формы, чем возлагая надежды на них. Телохранители охраняют вход во дворец от безоружных бедняков, которые не могут причинить тиранам никакого вреда, а не от прекрасно вооруженных людей, способных совершить любое покушение.

Так, история римских императоров показывает, что их телохранители не столько избавляли их от опасностей, сколько убивали их. Не отряды конной или пешей охраны и не оружие защищают тиранов, но, как ни трудно этому поверить с первого взгляда, однако это бесспорно: тирана всегда поддерживают четыре или пять человек, четыре или пять человек держат для него в порабощении всю страну. У тиранов всегда было пять или шесть приспешников, наушничавших ему; эти люди либо сами сумели приблизиться к нему, либо были им привлечены к себе, чтобы сделать их соучастниками его жестокостей, пособниками его удовольствий, сводниками его наслаждений и сообщниками его грабежей.

Эти шестеро с таким успехом дирижируют своим вождем, что заставляют его быть злым для общества не только его собственной, но еще и их злостью. Эти шестеро имеют под собой шестьсот человек, пользующихся их милостями. Эти шестьсот проделывают с шестерыми то же, что эти последние проделывают с тираном. От этих шестисот зависят в свою очередь шесть тысяч других, которых они возвысили раздачей должностей, поручив одним управление провинциями, другим — руководство финансами, с тем, чтобы они служили их алчности и жестокости и выполняли в нужный момент эту роль и чтобы они совершали зло, которое может продолжаться только при них и только под их сенью оставаться безнаказанным и ускользать от законной кары. За этими шестью тысячами следует еще большой черед, и тот, кто захочет заняться разматыванием этого клубка, убедится, что не только шесть тысяч, но сотни тысяч, миллионы связаны этой цепью с тираном и пользуются ею так же, как у Гомера Юпитер, который хвастал, что если он потянет за цепь<sup>49</sup>, то стащит к себе всех богов. Этим объясняется расширение сената при Юлии Цезаре<sup>50</sup>, ради этого создаются новые должности и новые

ведомства, которые все учреждаются на деле не ради реформы правосудия, а для того, чтобы служить новой опорой тирании. И в результате получается, что люди, занимающие эти должности, имеют эти милости из первых или из вторых рук, и этими выгодами они связаны с тиранами, так что в конечном счете оказывается, что людей, которым тирания выгодна, почти столько же, сколько и тех, которым дорога свобода. И подобно тому как доктора говорят, что если есть в нашем организме что-нибудь испорченное, то тотчас же к этому поврежденному месту приливают все дурные соки, так же точно и к государю, как только он превращается в тирана, устремляется вся скверна, все подонки государства; я имею в виду не клику мелких воров и мошенников, не способных воздействовать на судьбы государства ни в дурную, ни в хорошую сторону, но тех отмеченных пламенем честолюбия и непомерной алчностью, которые собираются вокруг него и поддерживают его, чтобы обеспечить себе долю в добыче и быть самим маленькими тиранчиками при большом тиране. Так же поступают большие грабители и знаменитые корсары: одни из них рыскают по стране, другие выслеживают и останавливают путешественников, одни караулят, другие сидят в засадах, одни убивают, другие грабят, и хотя между ними существует определенная иерархия, поскольку одни являются главарями банды, а другие слугами, тем не менее среди них нет ни одного, кто бы не был если не соучастником раздела добычи, то по крайней мере претендентом на нее. Достоверно известно, что киликийские пираты не только собирались в такие крупные отряды, что против них пришлось направить Помпейя великого<sup>51</sup>, но известно также, что они привлекали на свою сторону многие богатые местности и крупные города, в портах которых они укрывались по возвращении со своих набегов и которым в награду за пристанодержательство уделяли часть награбленного добра.

Тиран, таким образом, порабощает одних подданных с помощью других и охраняется теми, которых — если бы только они чего-нибудь стоили — он должен был бы опасаться. Но, как говорится, «чтобы расколоть дрова, делают клинья из того же дерева»; так и его стрелки, его копейщики, его гвардия таковы же, как и он. Бывает

и так, что и они страдают от него. Но эти презренные существа, от которых отступились и бог и люди, готовы переносить зло, только бы им быть в состоянии делать его не тому, кто делает зло им, но тем, которые так же терпят его, как и они, и не могут иначе.

И, однако, всякий раз при виде этих людей, которые подолгу льстят тирану, чтобы извлекать свои выгоды из его тирании и из рабства народа, их зловредность повергает меня в изумление, а их глупость внушает мне иногда жалость. Ибо действительно, что иное означает близость к тирану, как не удаление от своей свободы, как не стремление, так сказать, удерживать рабство обеими руками? Пусть они отбросят на время в сторону свое честолюбие, пусть они немного избавятся от своей алчности и пусть затем взглянут на себя и увидят себя такими, как они есть. Тогда они ясно увидят, что горожане и те самые крестьяне, которых они всячески попирают ногами и с которыми они обращаются хуже, чем с каторжниками и рабами,— они увидят, говорю я, что эти люди, как бы плохо с ними ни обращались, по сравнению с ними счастливее и по-своему до известной степени свободны. Крестьянин и ремесленник, как бы они ни были порабощены, выполнив то, что с них требуют, свободны, приспешники же тирана должны все время находиться у него на глазах и клянчить у него милости. Недостаточно, чтобы они выполняли его приказы,— необходимо, чтобы они угадывали его желания и для его удовлетворения еще и предупреждали их. С их стороны недостаточно повиноваться ему,— им необходимо еще угодывать ему; они должны расшибать себе лоб для него, мучиться, убиваться для него на работе, затем они должны радоваться его удовольствиям, как своим собственным, отказываться ради его склонностей от своих собственных, они должны насиливать свою природу, они должны внимательно следить за своими словами, за своим голосом, за своими жестами, за своим взглядом. Не должно быть ни глаза, ни ноги, ни руки, которые не находились бы целиком на страже его желаний; всё должно предугадывать его мысли. Но разве можно все это назвать счастливой жизнью? Разве это вообще значит жить? Есть ли на свете что-либо более невыносимое, чем такое положение, я уже не говорю для

просвещенного человека, но даже просто для человека со здравым смыслом или, наконец, для человека, не утратившего хотя бы человеческий облик. Есть ли более жалкое положение, чем жить так, чтобы у тебя не было ничего своего, так, чтобы все — и твой покой, и твоя свобода, и твоё тело, и самая жизнь целиком зависели от другого.

Но они хотят служить, чтобы приобрести богатства, как если бы они могли приобрести хоть что-нибудь, что действительно принадлежало бы им, поскольку они даже сами себе не принадлежат, и как если бы кто-нибудь мог иметь хоть что-либо свое собственное при тиране. Они хотят, чтобы богатства принадлежали им, и забывают при этом, что сами же они дают тирану возможность отнимать все у всех, не оставлять ничего, что можно было бы назвать принадлежащим кому-нибудь другому. Они видят, что ничто так не подвергается жестоким преследованиям тирана, как богатство, что собственность есть худшее преступление перед ним, достойное даже смерти, что он любит только богатства и грабит только богатых, а они, упитанные и откормленные словно на убой, предстают перед ним, чтобы отдаваться ему в руки, как живодеру, ждущему их с нетерпением. Эти фавориты должны помнить не столько о тех, кто, находясь в окружении тирана, накопил большие богатства, сколько о тех, кто, собрав богатства в течение некоторого времени, потом лишился не только их, но и своей жизни. Они должны вспоминать не о тех, кто приобрел богатства, а скорее о том, как мало таких, которые их сохранили. Вся история прошлых лет, а равно и наших дней ясно показывает, как велико было число тех, кто, добившись дурными средствами влияния на королей и затем использовав их зловредность или злоупотребив их глупостью, под конец погибали от их руки. Тираны возвышали их с такой же легкостью, с какой впоследствии свергали. Среди огромного числа людей, которые в то или иное время были близки к стольким дурным государям, немного или даже совсем не найдется таких, которые хоть когда-нибудь не испытали на себе жестокость того самого тирана, которого они до этого натравливали на других. Большой частью разбогатев под сенью его милостей,

за счет разорения других, они своими награбленными состояниями под конец сами же обогащали тирана.

Даже благородные люди, если таковые иногда полюбятся тирану и попадут к нему в милость, ибо в них так ярко сияют добродетель и неподкупность, что они даже худшим внушают известное уважение к себе, в особенности когда их видишь близко около себя,—то эти благородные люди, говорю я, недолговечны, они вскоре начинают ощущать общую болезнь и на своем собственном опыте испытывают действие тирании. Примером этого могут служить Сенека, Бурр, Тра-зеа<sup>52</sup>, этот триумвират благородных людей. Двух из них злая судьба сделала близкими тирану, отдав им в руки ведение его дел, обоих их тиран высоко ценил и любил, и к тому же один из них, будучи воспитателем тирана, имел залогом его дружбу с детских лет. Но все эти трое своей жестокой смертью убедительно доказали, как непрочна милость дурного государя. И действительно, какой дружбы можно ожидать от того, кто настолько жесток, что ненавидит свой собственный народ и требует от него лишь повиновения, от того, кто, не подозревая даже, что значит быть окруженным любовью, обкрадывает самого себя и разрушает свою власть?

Однако, если скажут, что названные трое испытали эти злоключения потому, что хотели благородно действовать, в таком случае пусть смело взглянут на других, кто был близок к этому же тирану, и тогда убедятся, что даже те, которые попадали в милость к нему и всякими злокозненными средствами сохраняли ее, тем не менее оказывались столь же недолговечными. Слышал ли кто-нибудь о более самозабвенной любви, о более ревностной страсти, приходилось ли кому-нибудь читать о человеке, более упорно привязанном к своей жене, чем Нерон к Поппее<sup>53</sup>. И что же? Впоследствии она была им отравлена. Мать его Агриппина<sup>54</sup> убила своего мужа Клавдия, чтобы проложить своему сыну путь к власти; ради того, чтобы сделать что-нибудь для него, она готова была перенести все, шла на все трудности. И что же? В конце концов этот самый вскормленный ею сын, ее рукою сделанный император, после того как он постоянно пренебрегал ею, лишил ее жизни. И не было человека, который не сказал бы,

что она понесла вполне заслуженное наказание, если бы только это преступление было совершено чьими-нибудь другими руками, а не руками того, кому она даровала жизнь.

Было ли кем-нибудь управлять легче, чем императором Клавдием? Был ли кто-нибудь более простодушен, чем он, вернее, большим простаком, чем он? Кто когда-нибудь был более обманут своей женой, чем он Мессалиной?<sup>55</sup> Под конец он сам передал ее в руки палача. Глупость тирана — если она ему присуща — всегда делает его не способным на добрые действия, но странным образом у тиранов всегда хватает ума, как бы мало его у них ни было, чтобы совершать жестокости, даже по отношению к тем, кто им близок.

Достаточно широко известно замечательное изречение другого тирана<sup>56</sup>, который, целуя шею своей страстно любимой жены, без которой он, казалось, жить не мог, приговаривал при этом: «Столь прекрасная шея, а стоит мне приказать — и она полетит с плеч долой». Вот почему большинство тиранов древности обычно погибало от руки своих ближайших фаворитов, которые, познав природу тирании, больше боялись могущества тирана, чем доверяли его благосклонности. Так, Домициан<sup>57</sup> был убит Стефаном, Коммод<sup>58</sup> — одной из своих возлюбленных, Антонин<sup>59</sup> — Макрином, и такой же насильственной смертью погибли почти все остальные тираны.

Дело в том, что тиран, разумеется, никогда не любил и не любит. Дружба, это — священное слово, это — святая вещь, она устанавливается только между порядочными людьми и развивается лишь на основе взаимного уважения. Она поддерживается не столько путем благодеяний, сколько путем хорошей жизни. Уверенность в друге создается убежденностью в его безупречности: гарантией ее являются его хорошие природные качества, его верность и постоянство. Не может быть дружбы там, где есть жестокость, там, где есть ве-роломство, там, где есть несправедливость. Объединение дурных людей — это не товарищество, а заговор: они не любят друг друга, а скорее боятся друг друга, они не друзья, а сообщники.

Но если бы даже этого препятствия не существовало, то не легко было бы найти в тиране прочную любовь, ибо, стоя над всеми и не

имея товарищей, он тем самым выходит за границы дружбы, оказывается выше ее, между тем как подлинной основой дружбы является равенство; дружба никогда не допускает иерархии, а всегда требует равенства. Вот почему даже между членами воровской шайки (как говорят) существует известное доверие при разделе добычи, так как они равны и товарищи, и если они не любят, а скорее боятся друг друга, то во всяком случае они не хотят разъединением ослаблять себя.

Что же касается тирана, то те, кто являются его фаворитами, никогда не могут быть в нем уверены, поскольку от них же самих он знает, что ему все позволено и что нет никакого права, никакого долга, которые обязывали бы его. Таким образом, он привыкает считать свою волю законом и, не имея себе равных, является повелителем всех. Поэтому разве не жаль, что, имея перед глазами столько наглядных примеров, видя, что опасность всегда налицо, никто не хочет учиться на чужом опыте; разве не жаль, что среди стольких приближенных к тиранам людей не найдется ни одного, у которого хватило бы ума и смелости сказать им то, что, как рассказывается в басне<sup>60</sup>, сказала лиса льву, который притворялся больным: «Я охотно навестила бы тебя в твоей берлоге, но я вижу следы многих зверей, входивших к тебе, и ни одного следа уходивших обратно».

Эти презренные создания видят блеск сокровищ тирана и в изумлении глядят на его роскошь; привлеченные этим светом, они приближаются и не замечают, что попадают в пламя, которое неминуемо поглотит их. Это напоминает безрассудного сатира<sup>61</sup> (из древних басен), который, увидев принесенный Прометеем яркий огонь, нашел его столь прекрасным, что подошел пощеловать его и сгорел, или того мотылька, который, желая насладиться какой-нибудь радостью, устремляется к огню, так как он светится, и который, по словам тосканского поэта<sup>62</sup>, испытывает на себе другое качество огня, а именно его способность сжигать.

Но допустим даже, что этим фаворитам удастся избежать рук того, кому они служат, однако им никогда не удастся спастись от

его преемника. Если он хорош, то им приходится дать отчет в своем прошлом и убедиться, по крайней мере под конец, что существует правосудие; если же он дурен и похож на своего предшественника, то у него, разумеется, найдутся свои собственные фавориты, которые обычно не довольствуются только тем, чтобы, в свою очередь, занять место своих предшественников, но в большинстве случаев желают получить их богатства и самую жизнь.

Найдется ли поэтому такой человек, который, невзирая на великую опасность и при столь малой уверенности в благополучном исходе, тем не менее захочет занять это злополучное место, чтобы служить при всех этих грозных обстоятельствах столь опасному повелителю? Боже правый, какое это наказание, какое это мучение день и ночь только и думать о том, чтобы нравиться ему и вместе с тем бояться его больше всего на свете, быть всегда начеку, пристально следить и чутко прислушиваться, чтобы предугадать, откуда может последовать удар, чтобы раскрыть заговор, чтобы разгадать по выражению лица своих друзей, кто изменяет ему, чтобы всем улыбаться и одновременно всех бояться, не иметь ни одного явного врага и ни одного верного друга, ходить всегда с улыбкой на лице и с пронзенным сердцем, не знать радости и не осмеливаться быть печальным.

Приятно, однако, подумать о том, что они получат за свое мученье и какие блага ожидают их за несносную жизнь. Народ наперебой обвиняет в бедствиях, которые он терпит, не тирана, а тех, кто тираном руководит; народы, нации, все, вплоть до крестьян, до земледельцев, знают их имена, разоблачают их пороки, сыплют на их головы тысячи оскорблений, тысячи мерзостей, тысячи проклятий. Все молитвы, все желания направлены против них. Народ винит только их в своих несчастьях, во всех болезнях, голодовках. Если же иногда он для видимости оказывает им какое-то почтение, то он при этом клянет их в душе и боится их больше, чем диких зверей. Вот слава, которую они снискивают себе, вот почет, которым их окружают за их службу люди, каждый из которых, если бы даже он получил кусок их живого тела, то хотел бы еще большего и не считал бы себя достаточно удовлетворенным их наказанием. Ибо даже после

того, как этих фаворитов больше нет в живых, люди никогда не устают чернить имена этих пожирателей народа<sup>63</sup> тысячами перьев, увековечивать их дурную славу в тысячах книг и, так сказать, волочить их кости на поругание потомству, наказывая их даже после смерти за их злоказненную жизнь.

Станем же иногда, станем поступать добродетельно: поднимем очи горе либо ради нашей чести, либо из любви к самой добродетели, либо, говоря по совести, ради любви и чести всемогущего бога, достоверного свидетеля наших поступков и праведного судьи наших прегрешений. Со своей стороны я убежден,— и думаю, что не ошибаюсь в этом, ибо нет для бога, при всей его благости и всем его милосердии, ничего омерзительнее, чем тирания,— что им в загробной жизни отдельно уготована какая-то особая кара для тиранов и их приспешников.



О Т Р Y В O K  
ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ  
„РАССУЖДЕНИЕ  
о  
ДОБРОВОЛЬНОМ  
РАБСТВЕ”

(B A P H A H T)







ОТРЫВОК,  
НАПЕЧАТАННЫЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИЗДАНИИ  
СБОРНИКА «LE RÉVEILLÉ-MATIN DES FRANÇOIS»<sup>1</sup>

Историограф. Если бы покойный господин Адмирал знал эту басню<sup>2</sup> и вел себя, как эта лисица, то он оказал бы всем нам большую услугу. Но овца, которая, как ты знаешь, умеет только блеять и не умеет, изменив свой голос, выть с волками по-волчьи, не избегает опасности. Однако, что касается этих приспешников тирана<sup>3</sup>, то какое средство есть против них?

Эти презренные существа, видя, как сверкают сокровища тирана, которые он добывает из пота народа и путем грабежа его имущества, смотрят с изумлением на лучи его великолепия и, привлеченные этим блеском, приближаются к нему, не думая о том, что они попадают в пламя, которое не преминет поглотить их.

Точно так же безрассудный сатир<sup>4</sup>, как гласят старинные басни, увидев яркий огонь, принесенный Прометеем, нашел его столь прекрасным, что подошел поцеловать его и сгорел.

Так могилек, желая насладиться каким-нибудь большим удовольствием<sup>5</sup>, бросается на пламя свечи, которое кажется ему светлым и блестящим, и испытывает на себе другое его качество — его способность сжигать.

Общеизвестная вещь для тех, кто видит их вблизи, что эти негодяи-попрошайки терпят невероятные тяготы, ибо они вынуждены день и ночь думать только о том, как бы понравиться тирану, и

расшибать себе лоб, надрываться и изощряться в придумывании все новых средств, как предавать, убивать, распутничать, грабить и обкрадывать; они вынуждены отказываться от своих вкусов ради вкуса тирана; и, несмотря на все это, они не могут не бояться его больше всего на свете; их глаза должны быть всегда настороже, они принуждены держать всегда ухо востро, чтобы выслеживать, откуда последует удар, чтобы во-время разоблачить засаду; они должны следить за выражением лиц своих соратников, чтобы разгадывать, кто ему изменяет; они должны каждому улыбаться и всех бояться; не иметь никого — ни одного явного врага и ни одного преданного друга, ходить всегда с улыбкой на устах и с пронзенным сердцем, не будучи в состоянии быть веселыми и не осмеливаясь быть печальными.

**Политик.** Ты описал в двух словах жизнь этих презренных людей. Но, говоря об этом с полным знанием дела и без обиняков, следует признать, что самым счастливым из всех других государств является то, в котором, по выражению Платона, государи-философы или философы управляют государством<sup>6</sup>. Большое счастье быть подданным хорошего, повинующегося закону государя, который в свою очередь в качестве гарантии, дабы закон не был нарушен, имеет известное число генеральных штатов и парламентов<sup>7</sup>, как это было некогда в нашей Франции и как это существует еще и по сей день у некоторых наших соседей.

Поэтому большое несчастье находиться в порабощении у тирана, вероломного убийцы<sup>8</sup> и у такого же вероломного королевского совета; у тирана, который не блудет ни веры, ни закона, никакой справедливости, никакого правосудия; для него не существует никакой гуманности, никаких законов, даже тех, которые природа начертала в сердцах самых безнадежных болванов.

Большое несчастье — говорю я — не только для придворных, но и для всех вообще французов, какой бы веры они ни были и какого бы они ни были положения, находиться под властью самодержца, относительно которого никогда нельзя быть уверенным, что он будет хорош, раз всегда в его власти быть дурным, когда он того захочет. А иметь многих таких повелителей значит быть во сто крат несчастнее.

LE  
REVEILLE-MATIN  
DES FRANCOIS, ET  
DE LEVRS VOISINS.

*Composé par Eusebe Philadelpho Cosmo-  
polite, en forme de  
Dialogues.*

A EDIMBOURG,

*De l'imprimerie de Jaques Iames.*

Avec permission.

1574.

*Bibliotheca  
Suctelen.*

Титульный лист французского издания  
сборника «Le Réveille-Matin des François».

Но я очень хотел бы узнать, как возможно, что такое огромное число людей, столько деревень, столько городов и областей терпят над собой так долго одного-единственного тирана, не имеющего никаких других средств, кроме тех, которые они ему дают. Он может им вредить только в такой мере, в какой они захотят это переносить; он не мог бы причинить им никакого зла, если бы они не предпочитали лучше терпеть, чем противодействовать ему. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее я поражаюсь.

*Историограф.* Уверяю тебя, я удивляюсь не меньше твоего. Но прошу тебя, дорогой мой друг, раз уже я имею возможность тебя послушать на эту тему, расскажи мне об этом поподробнее. Эта тема сейчас весьма своевременна<sup>9</sup>, и я знаю, что ты великолепно разбираешься в этом, как человек нашего века. Начинай, я буду слушать тебя и готов бодрствовать всю ночь.

*Полигик.* Согласен, вот уже немало времени, как я настолько переполнен этими мыслями, что буквально сгораю от желания выложить все то, что я думаю по этому поводу.

Но я заявляю определенно, что не буду говорить об этом в духе гугенотов<sup>10</sup>, ибо они говорят об этих делах слишком мягко и слишком раболепно. Я буду говорить пространно, как подлинный и истый француз и как может говорить человек о вещах, подлежащих его суждению, т. е. с точки зрения общечеловеческого здравого смысла, с тем, чтобы все наши католики, наши патриоты и добрые соседи и все остальные французы, с которыми обращаются хуже, чем со скотами, пробудились на этот раз, чтобы услышать о своих бедствиях и чтобы всем сообща решить, как помочь нашей беде.

Говоря по совести, друг мой, это поразительная вещь: видеть, как миллионы людей жалчайшим образом служат, согнув выю под ярмо, не принуждаемые к этому особенно большой силой, но будучи, как кажется, в некотором роде зачарованными и околдованными самым именем одного, могущества которого они не должны бояться, так как он всего один, и качества которого они не должны любить, ибо он по отношению к ним свиреп и бесчеловечен.

Многие смелые среди нас люди часто подчиняются силе: прихо-

дится выжидать, мы не всегда можем быть более сильными. Следовательно, если какой-нибудь народ, побежденный силой оружия в войне, вынужден служить одному человеку (как это было с Афинами при тридцати тиранах)<sup>11</sup>, то в этом нет ничего удивительного. В этом случае приходится сожалеть о происшедшем или, вернее, не удивляться и не сожалеть, а стойко нести бремя и стараться уговорить себе в будущем лучшую участь.

Наша природа такова, что обязанности взаимной дружбы отнимают значительную часть нашей жизни. Разумно любить добродетель, уважать высокие подвиги, быть признательным за добро, откуда бы мы его ни получали, и даже лишаться своего удобства ради славы и выгоды того, кого мы любим и кто этого заслуживает.

Поэтому, если жители какой-нибудь страны нашли такого выдающегося человека, который обнаружил перед ними на опыте большую проницательность в охране их, большую храбрость в деле защиты их и великую заботу в управлении ими; и если, исходя из этого, они привыкают повиноваться ему и доверяют ему настолько, что представляют ему известные преимущества (хотя я со своей стороны сомневаюсь, благородно ли снимать его с того места, где он делал добро, и назначать его туда, где он сможет делать зло), — то в этом проявляется благородство тех, которые возвышают его и которые не боятся никакого зла со стороны того, кто до этого делал им только добро.

Но, боже милостивый! Что это такое? Как назовем мы это? Что это за несчастье? Что это за порок, вернее, что за злосчастный порок, когда мы видим, что бесконечное число людей не только повинуются, но служат, не только управляемы, но угнетены тиранией так, что не имеют ничего своего: ни имущества, ни жен, ни детей, ни родителей, ни даже самой жизни, которые принадлежали бы им. И терпят грабежи, распутство, жестокости не от войска или варварской армии, против которых следовало бы проливать свою кровь и даже жертвовать жизнью, но от одного человека, и не от какого-нибудь Геркулеса или Самсона, но от самого ничтожного человека, самого трусливого и самого расслабленного из всего народа; человека, который

привык не к пороху сражений, но скорее к песку турниров; человека, который не только не способен управлять другими людьми, но сам находится в рабском служении у самой ничтожной бабенки.

Скажем ли мы, что те, кто служит такому гнусному тирану, трусы и подлецы?

Если бы двое, трое, четверо не защищались от одного, то это было бы странно, но все-таки возможно, и можно было бы в таком случае с полным правом сказать, что это происходит от недостатка мужества. Но если сто человек, если тысяча людей страдают от одного единственного человека, то не скажем ли мы, что они не хотят, а не то что не решаются напасть на него, и что это не трусость, а скорее пренебрежение и презрение?

Но если мы видим, что не сто и не тысяча людей, а сто областей, тысяча городов, миллионы людей не нападают на того одного, со стороны которого даже наилучшее обращение состоит в том, чтобы превращать людей в своих слуг и рабов, то как назовем мы это?

Трусость ли это?

Во всех пороках по их природе есть некий предел, за который они не могут выходить. Двое, и даже десять человек, могут бояться одного, но если тысяча, если миллионы людей, если тысяча городов не защищаются от одного, то это не трусость, так далеко она не может заходить; так же как и храбрость не может дойти до того, чтобы один человек штурмовал крепость, нападал на армию или завоевывал государство.

Итак, что же это за уродливый порок, который даже не заслуживает названия трусости, для которого нет достаточно гнусного имени, от которого отрекается природа и назвать который отказывается язык?

Пусть поставят на одной стороне пятьдесят тысяч вооруженных людей и столько же на другой; пусть их выстроят в боевой порядок; пусть они сойдутся и начнут биться друг с другом: одни — свободные и борющиеся за свою свободу, другие — за то, чтобы отнять ее у них.

Кто из них, думаете вы, с большей отвагой пойдет в бой? Те ли, которые надеются в награду за свои усилия сохранить свою свободу, или те, которые не могут ожидать иного вознаграждения за нанесенные или принятые на себя удары, кроме порабощения других?

Одни из них всегда имеют перед глазами свое счастливое прошлое и ожидание такого же благоденствия в будущем; они помнят не столько о тех испытаниях, которые им придется вынести в течение того короткого времени, пока длится битва, сколько о том, что постоянно придется переносить им, их детям и всему их потомству.

У других же нет ничего, что вдохновляло бы их на борьбу, за исключением совсем незначительного стимула — жажды наживы, стимула, который тотчас же рушится при первом столкновении с опасностью; алчность, как мне кажется, не может быть столь пламенной, чтобы угаснуть лишь вместе с последней каплей крови, вытекающей из их ран.

В столь прославленных сражениях Мильтиада и Фемистокла<sup>12</sup>, которые даны были две тысячи лет назад и которые еще и по сей день так свежи в памяти людей, как если бы это было всего вчера; в сражениях, которые были даны во имя блага Греции и в качестве образца для всего мира, как вы думаете, что придало в этих битвах такому небольшому числу людей, какое составляли греки, не силу, а стойкость выдержать натиск такого числа судов, что само море, казалось, было обременено ими; как смогли они нанести поражения такому множеству народов, когда греков было меньше, чем одних лишь только командиров вражеских армий?

Что же это было, как не то, что в эти достославные дни дело шло не столько о борьбе греков с персами, сколько о победе свободы над угнетением, о победе вольности над властолюбием.

Изумительные вещи приходится слышать о мужестве, которое рождает свободу в сердцах тех, кто защищает ее.

Но кто поверил бы тому, что ежедневно совершается у нас на глазах, в нашей Франции<sup>13</sup>, где один человек угнетает сто тысяч городов, лишая их свободы; кто поверил бы этому, если бы он только слышал, но не видел этого? И если бы это происходило в чужих

и отдаленных странах, и он знал бы об этом только понаслышке? Кто не подумал бы, что это скорее всего измышления и выдумки, а не подлинная действительность?

Тем более, что с этим единственным тираном незачем сражаться, его незачем побеждать, ибо он побежден сам по себе, только бы страна не соглашалась на свое порабощение. Не нужно ничего отнимать у него, нужно только ничего не давать ему. Стране не нужно делать никаких усилий для себя, только бы она ничего не делала против себя.

Ведь народ сам позволяет надевать на себя узду, между тем как ему достаточно перестать служить — и вот он уже свободен.

Народ сам отдает себя в рабство, он сам перерезает себе горло; он, имея выбор, быть ли рабом или быть свободным, расстается со свободой и сам надевает себе ярмо на шею. Имея возможность жить под властью хороших законов и под покровительством штатов<sup>14</sup>, он хочет жить в обстановке беззакония, угнетения и бесправия, будучи отдан на произвол этого тирана.

Народ сам не только соглашается на свое порабощение, но как бы ищет его. Если бы ему стоило чего-нибудь возвращение своей свободы, я отнюдь не настаивал бы на этом, хотя для человека не должно быть ничего более дорогое, чем восстановить себя в своем естественном праве и, так сказать, из животного стать человеком.

Но я не требую от него такой смелости; я предоставляю ему — пусть он предпочитает сомнительную безопасность жалчайшего существования слабой надежде на спокойную и счастливую жизнь.

Но если для того, чтобы получить свободу, ему нужно только захотеть ее? Если требуется только простое желание, то неужели найдется в мире народ, который считал бы ее купленной слишком дорогой ценой, раз она может быть приобретена одним только желанием? Неужели найдется народ, который пожалел бы затратить свою волю ради восстановления блага, которое он должен быть готов выкупить ценой своей собственной крови, блага, с утратой которого все честные люди должны считать свою жизнь мучительной, а смерть спасительной!

Точно так же как огонь от одной маленькой искры разгорается в большое пламя и все усиливается и готов все ярче гореть, чем больше он находит дров, и наоборот, если даже не лить воды, чтобы потушить его, а просто больше не подкладывать дров, то, не имея больше что пожирать, он пожирает сам себя, теряет всякую силу и перестает быть огнем,— так же и тираны, чем больше они грабят, чем больше требуют, чем больше разоряют и уничтожают, чем больше им дают и служат им, тем они становятся сильнее и жаднее к разрушению всего. Тогда как если им ничего не давать, если им не повиноваться, то они без борьбы и сражения становятся голы и ничтожны, становятся ничем, подобно тому как дерево, корни которого не получают больше влаги и пищи, ссыхается и превращается в сухие и мертвые ветви.

Смельчаки, чтобы приобрести желаемое благо, не боятся опасности, рассудительные не отказываются от усилий. Трусливые и закосневшие в своем зле люди не умеют ни переносить тягот, ни восстанавливать свое благо; они довольствуются тем, что желают его. Добродетель же добиваться его у них отнята их трусостью, между тем как естественное стремление иметь его остается и у них.

Это желание, это стремление свойственно как мудрым, так и глупым, как храбрецам, так и трусам. Все они желают приобрести то, что может сделать их счастливыми и довольными. И только к одному люди, я не могу понять почему, недостаточно стремятся — к свободе.

Между тем свобода — это такое великое и прекрасное благо, что с потерей ее все бедствия приходят чередой, и даже те блага, которые остаются без нее, полностью теряют всякий вкус и всякую сладость, будучи испорчены рабством.

Единственно свободы не хотят люди и, как мне кажется, только потому, что если они действительно пожелали бы ее, то они ее имели бы; люди как бы только потому отказываются сделать это прекрасное приобретение, что оно слишком легко достижимо.

Бедные, несчастные французы!<sup>15</sup> Неразумный народ, нация, упорствующая в своем зле и слепая к своему собственному благу! Вы позволяете отнимать у вас на глазах лучшую и прекраснейшую

часть ваших плодов, грабить ваши поля, обкрадывать ваши дома и расхищать из них ваше старинное, отцовское достояние; вы живете так, как будто все это принадлежит не вам и как будто вы почитаете для себя большим счастьем держать как бы внаем ваше имущество, ваши семьи и самые ваши жизни.

И все эти бедствия, все это разорение и опустошение исходят не от врагов, но от одного врага, которого вы сами делаете таким могущественным, как он есть, за которого вы бесстрашно идете на войну, за величие которого вы не отказываетесь итти на смерть.

Между тем тот, кто так властвует над вами, имеет только два глаза, две руки, одно тело и ничего такого, чего не имел бы самый простой человек из ваших бесчисленных городов. Преимущество, которое он имеет перед вами, это — только вероломство и предательство<sup>16</sup> и то преимущество, которое вы сами даете ему,— истреблять вас.

Откуда взял бы он столько глаз, чтобы следить за вами, если бы вы сами не давали их ему? Где бы он достал столько рук, чтобы бить вас, если бы он не брал их у вас же? Или откуда взялись бы у него ноги, которыми он попирает ваши города? Чьи они, если не ваши?

Откуда была бы у него власть над вами, если бы вы не давали ее ему? Как бы мог он нападать на вас, если бы вы не были заодно с ним? Что бы он мог сделать вам, если бы вы не были укрывателями того вора, который вас грабит, сообщниками того убийцы, который убивает вас, если бы вы не были изменниками по отношению к себе самим?

Вы сеете для того, чтобы он уничтожал ваши посевы; вы обставляете и наполняете ваши дома для его грабежей и краж, вы растите ваших дочерей для удовлетворения его похоти; вы воспитываете ваших сыновей с тем, чтобы он,— и это лучшее, что он может им сделать,— вел их на свои войны, гнал их на бойню, чтобы он делал их слугами своей алчности, исполнителями своих мщений и палачами веры ваших сограждан<sup>17</sup>. Вы надрываетесь в труде, чтобы он мог нежиться в удовольствиях и утопать в своих грязных и мерзких наслаждениях.

ниях. Вы подрываете свои силы для того, чтобы сделать его сильнее и чтобы он мог еще туже держать вас в узде.

И от всех этих бедствий, которых не стали бы терпеть даже и животные, вы можете избавиться, если только вы не то что попытаетесь освободиться, но только пожелаете сделать это.

Решитесь не служить ему более — и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы нападали на него и бились с ним, перестаньте только поддерживать его, и вы увидите, что он, как огромный колосс, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги.





# ПРИЛОЖЕНИЯ







## ТРАКТАТ ЛА БОЭСИ О ДОБРОВОЛЬНОМ РАБСТВЕ

«Рассуждение о добровольном рабстве» Этьена Ла Боэси — один из замечательных памятников французской публицистики XVI века. Протест против самодержавия, которым проникнута каждая строка его, яркая литературная форма, своеобразная красота его построенных на античный лад пространных периодов — все это делает трактат рано умершего французского гуманиста одним из выдающихся произведений мировой политической литературы.

Написанный в середине XVI века, он стал прообразом и до известной степени исходным пунктом литературы французских тираноборцев, превратившихся в период гражданских войн второй половины XVI века в одно из орудий борьбы гугенотов против последних Валуа. Заражающая сила «Рассуждения о добровольном рабстве» продолжала действовать и века спустя, в моменты политических бурь или политического напряжения, когда, как, например, в эпоху французской революции 1789 года и позднее, забытый, казалось, памфлет вновь воскресал, призывая людей совсем иных поколений к борьбе за свободу. И недаром вокруг небольшого трактата Ла Боэси создалась обширнейшая литература: достаточно назвать имена Монтеня, Ламенне, Сент-Бева, коммунара Вермореля, немецкого писателя Вильанда, не говоря о многих позднейших авторах. Отношению Льва Николаевича Толстого к трактату Ла Боэси и судьбе этого памфлета в России посвящена в настоящем издании специальная статья.

Однако, несмотря на наличие огромной литературы, ряд существенных вопросов, связанных с трактатом Ла Боэси, остается по сей день нерешенным. До сих пор, например, ведутся споры о времени написания «Рассуждения»; не установлено также, имеем ли мы дело с текстом в том виде, в каком он вышел первоначально из-под пера Ла Боэси, или в нем сделаны были существенные изменения и дополнения; и если они сделаны, то кем — самим ли автором или каким-нибудь посторонним лицом; наконец, — и это важнее всего — имеются коренные расхождения по поводу трактовки самого характера и существа «Рассуждения», в котором одни видят острый политический памфлет, направленный против тогдашнего государственного строя Франции и тогдашних французских государей, другие — отвлеченное теоретическое рассуждение о пагубности тирании, а некоторые — даже чисто риторическое школьное упражнение на эту тему.

В советской историографии были сделаны попытки изучения этого выдающегося произведения французской публицистики с научных позиций марксистско-ленинской методологии. Советские историки, естественно, прежде всего устремили свое внимание на правильное истолкование социального смысла памфлета. Это неминуемо должно было привести и привело к исследованию заново всего содержания трактата. Всякая книга, которая переживает своего автора, всякая книга, которая читается четыреста лет спустя после ее написания и не перестает в течение этого времени привлекать внимание читателей и издателей, неизбежно прочитывается по-разному в течение этой посмертной жизни. Неудивительно, что советские историки, подойдя к «Рассуждению о добровольном рабстве» с принципиально новой точки зрения, сумели открыть в нем новые важные черты.

## 1

Прежде чем перейти к анализу трактата, остановимся вкратце на жизни и деятельности его автора.

Этьен де Ла Боэси родился 1 ноября 1530 г. в городке Сарла, в Нижнем Перигоре (провинция Гиен). Семья его занимала виднос-

положение в провинции и располагала обширными связями. По отцовской линии Ла Боэси происходил из купеческой семьи, разбогатевшей на торговле и возвысившейся благодаря покупке государственных должностей. Отец Этьена, Антуан Ла Боэси, получивший юридическое образование и имевший степень лиценциата права, занимал в Сарла пост личного наместника сенешала провинции. Мать Этьена Ла Боэси принадлежала к кругам местной парламентской бюрократии.

Оставшись рано сиротой, Этьен был принят в дом своего дяди и крестного отца<sup>1</sup>, образованного священника, прошедшего юридическую школу, тоже Этьена Ла Боэси, который оказался для него настоящим «вторым отцом» и позаботился дать племяннику хорошее образование. Это происходило как раз в пору расцвета французского Возрождения, нашедшего себе множество очагов в разных углах страны.

Епископом Сарла в годы отрочества Ла Боэси был итальянец Гадди, родственник Медичи, поклонник античности, в частности, греческой литературы и греческого искусства, собиратель драгоценных греческих рукописей. Повидимому, именно под влиянием Гадди произошло первое приобщение Ла Боэси к греческой образованности. Во всяком случае вскоре на редкость даровитый и исключительно рано созревший Ла Боэси превосходно познакомился с античной литературой и стал впоследствии выдающимся эллинистом. Восторженно отзывающийся о нем Монтень называл Ла Боэси вторым Бюде<sup>2</sup>. Это, несомненно, преувеличение, но специалисты-лингвисты признают Ла Боэси незаурядным для того времени филологом. Он писал латинские стихи и считался одним из лучших тогдашних латинских поэтов. Писал он и французские стихотворения и, как это видно из его трактата, восторженно приветствовал появление поэтической школы Плеяды.

<sup>1</sup> О нем см. примеч. 4 на стр. 196.

<sup>2</sup> Гильом Бюде (1467—1540), французский гуманист и филолог, написавший монументальный труд «Commentarii linguae gtaesae», пользовался репутацией первого эллиниста не только Франции, но всей Европы.

Для завершения своего образования Ла Боэси поступил в славившийся своим юридическим факультетом Орлеанский университет. К этому времени под влиянием развития новых, капиталистических отношений и разложения феодальной системы происходило обновление в преподавании почти всех наук. В частности, в юриспруденции схоластические методы ее изучения явно отживали свой век. Новый подход к изучению права пропагандировался такими известными юристами, как итальянец Андреа Альчиато (1492—1550), впервые применивший гуманистические приемы при изучении юридических вопросов, в частности, метод филологической критики источников, или француз Кюжа (1522—1590), виднейший представитель филологической школы, выдвинувший в противовес схоластическим методам буквального и казуистического толкования вопросов права требование изучать юридические источники в связи с историческими условиями, породившими их. В Орлеанском университете было немало выдающихся преподавателей, среди которых выделялся своим критическим умом и принципиальностью Анн дю Бур (Anne du Bourg), примкнувший впоследствии к сторонникам французской реформации. Дю Бур был в дальнейшем назначен членом парижского парламента, где резко выступил против гонений на протестантов. Арестованный по приказанию Генриха II, он окончил жизнь на костре. Анн дю Бур произвел неизгладимое впечатление на Ла Боэси в его студенческие годы.

В Орлеанском университете Ла Боэси сошелся с некоторыми талантливыми и подобно ему увлекавшимися античностью студентами. Однако обращение к античности не было для них бегством в далекое прошлое; оно связано было с близкой им жгучей, животрепещущей французской современностью. Античность была для них той призмой, через которую преломлялось их восприятие настоящего. Она призвана была освящать их новые требования, или, выражаясь словами самого Ла Боэси из его трактата, о них можно было бы сказать, что они вспоминали о прошлом лишь для того, «чтобы по нему судить о будущем и мерить им настоящее»<sup>1</sup>. Возможно, что в этой насыщенной

<sup>1</sup> См. наст. изд., стр. 24. Подчеркнуто мною.—Ф. К.-Б.

новыми идеями духовной обстановке Орлеанского университета и было написано «Рассуждение о добровольном рабстве».

По окончании Орлеанского университета и по получении степени лиценциата гражданского права Ла Боэси был назначен советником бордоского парламента. К этому времени, к 1554 году, он еще не достиг законного 25-летнего возраста, требовавшегося для вступления в должность, но особое королевское разрешение устранило это препятствие. В регистрах бордоского парламента сохранился протокол заседания от 17 мая 1554 г., на котором Ла Боэси были допущен к присяге и утвержден в должности советника парламента. Благодаря своим основательным юридическим познаниям, энергии и выдающимся моральными качествам Ла Боэси скоро занял видное место среди членов парламента. Ему давали ответственные и сложные поручения. Так, например, в конце 1560 г. Ла Боэси уполномочен был ходатайствовать перед королем о регулярной выплате постоянно задерживавшегося жалованья членам парламента. Он совершил с этой целью поездку в Париж, где по решению королевского совета был принят указ, урегулировавший этот вопрос. Во время этих хлопот Ла Боэси неоднократно встречался и вел переговоры с канцлером Лопиталем<sup>1</sup>. Позднее, в сентябре 1561 г., когда в области возникли серьезные волнения на почве столкновений между гугенотами и католиками, Ла Боэси назначен был парламентом для участия в умиротворении ряда местностей Гиени.

В 1557 г. Ла Боэси познакомился с Монтенем. Знакомство скоро перешло в исключительно тесную дружбу, описанию которой посвящена знаменитая глава «Опытов» Монтеня — «О дружбе»<sup>2</sup>. Монтень и Ла Боэси стали называть друг друга «братьями»<sup>3</sup>. Но дружбе этой не суждено было длиться долго. В 1563 г. Ла Боэси заболел,—

<sup>1</sup> См. прим. 1 на стр. 195.

<sup>2</sup> См. наст. изд., стр. 126.

<sup>3</sup> Таков был довольно распространенный в XVI веке обычай. Мы встречаем примеры его у Клемана Маро или у того же Монтеня, который стал называть свою последовательницу, мадемузель Гурне, своей нареченной дочерью, и в ряде других случаев.

предполагали, что чумой,— и через несколько дней умер, на тридцать третьем году жизни. Во время болезни Ла Боэси Монтень неотступно находился при нем и описал в письме к отцу последние дни своего друга, стоическое мужество, с которым он ожидал наступления конца, и его возвышенные беседы с близкими<sup>1</sup>. Ла Боэси оставил Монтеню свое самое ценное достояние — все свои книги и рукописи.

## 2

В 1571 г. Монтень, желавший увековечить память своего покойного друга изданием его литературного наследия, опубликовал имевшиеся в его распоряжении французские и латинские стихотворения Ла Боэси, а также несколько переведенных последним с греческого произведений Ксенофона и Плутарха, которые Монтень снабдил посвящениями известным деятелям того времени — канцлеру Лопиталю, Анри де Мему и др.<sup>2</sup> Но Монтень отказался от мысли издать две работы Ла Боэси: «Рассуждение о добровольном рабстве» и написанный им незадолго до смерти «Мемуар о волнениях во Франции в связи с январским эдиктом 1562 г.»<sup>3</sup>. Причиной отказа Монтеня была накаленная обстановка в стране. С полной ясностью это подтвердил общий друг Монтеня и Ла Боэси Сен-Март, писавший: «Прочие произведения Ла Боэси (т. е. „Рассуждение о добровольном рабстве“ и „Мемуар о волнениях во Франции в связи с январским эдиктом“.— Ф. К.-Б.) были скрыты, ибо они были написаны несколько более откровенно, чем было допустимо в то время». Монтень же в обращении к читателю выразился об этих двух произведениях так: «Я нахожу их построение слишком деликатным и хрупким, чтобы подвергать их действию резкого и буйного ветра теперешней непогоды»<sup>4</sup>.

Это было написано Монтенем 10 августа 1570 г., т. е. в момент ожесточенной классовой борьбы, в разгар гражданских войн во Франции второй половины XVI века.

<sup>1</sup> См. наст. изд., стр. 154.

<sup>2</sup> О нем см. прим. 1, на стр. 194.

<sup>3</sup> См. прим. 6 на стр. 190.

<sup>4</sup> См. наст. изд., стр. 141.

Но то, чего не сделал Монтень, сделала одна из борющихся сторон — восставшие гугеноты; в сборнике под названием «*Le Réveille-Matin des François*»<sup>1</sup>, вышедшем через полгода после Варфоломеевской резни и содержащем два диалога, направленных против правящей династии — короля Карла IX и королевы-матери Екатерины Медичи, они опубликовали анонимно часть «Рассуждения о добровольном рабстве»<sup>2</sup>. Они изменили кое-где его текст применительно к своим политическим целям, внеся, например, ряд выпадов и намеков, относившихся к тогдашней бурной политической обстановке во Франции.

Острота положения в стране усугублялась еще прокатившимися по всей Франции избиениями гугенотов. События Варфоломеевской ночи, ясно обнаружившие, что дело шло о кризисе не только абсолютизма, но и всего французского общества в целом, вызвали к жизни обширнейшую литературу — брошюры, памфлеты, учёные трактаты, в которых представители боровшихся партий разбирали основные вопросы государственного строя Франции, существо королевской власти, ее прерогативы и пр. В этом потоке весьма злободневной публицистики почетное место заняло соответственно обработанное сочинение *Ла Боэси*. Так, в виде составной части боевого политического памфлета, направленного против тогдашних политических порядков вообще и против царствовавшей династии, в частности, впервые увидела свет небольшая часть трактата *Ла Боэси*. Сборник «*Le Réveille-Matin des François*» получил широкое распространение и в 1575 г. вышел в переводе на немецкий язык. О том, как серьезно было обеспокоено его распространением правительство, свидетельствовало выпущенное по настоянию французского двора опровержение под названием «*Le vray Réveille-Matin, pour la defense de la Majesté de Charles IX par Arnaud Sorbin*» (Paris, 1574).

В середине семидесятых годов Монтень вновь вернулся к мысли об издании столь цennимого им трактата его незабвенного друга; он намеревался включить «Рассуждение о добровольном рабстве» в заду-

<sup>1</sup> См. прим. 1 на стр. 185.

<sup>2</sup> См. наст. изд., стр. 45 и сл.

маниую им несколько лет назад и постепенно создаваемую книгу — столь прославленные впоследствии «Опыты». В конце главы «О дружбе» Монтень собирался напечатать «Рассуждение о добровольном рабстве», послужившее поводом для его первого знакомства с Ла Боэси. Вот почему глава эта заканчивалась следующими словами: «Но послушаем этого юношу 16 лет»<sup>1</sup>. Вслед за этим должно было итти «Рассуждение о добровольном рабстве». Так было задумано, но дело обернулось совсем по-иному. В 1576 г. вышел сборник женевского пастора Симона Гуляра «Mémoires de l'Estat de France sous Charles neufièstme»<sup>2</sup>, в одном из трех томов которого (в середине третьего) был помещен памфлет Ла Боэси, на этот раз уже полностью, хотя и со множеством неточностей.

Так впервые был издан в полном виде интересующий нас трактат, который гугенотские редакторы переименовали, придав ему боевое и выразительное, получившее широкую известность название «Contr'Un».

И Монтень снова отказался от своего намерения. «Так как я увидел,— писал он в конце главы „О дружбе“,— что это произведение (т. е. „Рассуждение о добровольном рабстве“.— Ф. К.-Б.) было тем временем опубликовано, и с дурным умыслом, людьми, старающимися внести смуту и изменить наш государственный строй, не задумываясь, исправят ли они его этим; и так как они смешали его с другими писаниями в их вкусе, то я отказался от мысли поместить его здесь»<sup>3</sup>, т. е. в издании собственных «Опытов».

Мысль о том, что память его покойного друга может пострадать от предосудительного соседства «Рассуждения о добровольном рабстве» с «мятежными» гугенотскими писаниями, очень озабочивала и смущала Монтеня, и, чтобы смягчить впечатление, он изображал «Рассуждение» невинным литературным упражнением 18-летнего юноши. Во всех

<sup>1</sup> См. наст. изд., стр. 139 и прим. 32 на стр. 193.

<sup>2</sup> Сборник этот представлял собою собрание памфлетов, многие из которых написаны были Симоном Гуляром, большая же часть являлась компиляциями и переводами, сделанными им же.

<sup>3</sup> См. Приложения, стр. 139.

изданиях «Опытов», вышедших при жизни Монтеня, он неизменно указывал, что «Рассуждение» было написано Ла Боэси в 18-летнем возрасте, следовательно, около 1548 г. Но в подготовленном Монте-нем перед смертью новом издании «Опытов», в котором он сделал ряд дополнений и изменений и которое с тех пор кладется в основу всех последующих изданий, он собственноручно зачеркнул слово «восемнадцать», заменив его словом «шестнадцать». — «...Чтобы память автора не пострадала в глазах лиц, не знавших как следует его взглядов и его поступков,— заявлял в главе „О дружбе“ Монтень,— то я предупреждаю их, что эта тема трактовалась им в ранней юности в целях литературного упражнения, как ходячий, избитый сюжет, без конца разбирающийся в тысяче всевозможных сочинений»<sup>1</sup>.

Вопреки опасениям Монтеня память Ла Боэси не пострадала от опубликования «Рассуждения» в сборнике «Mémoires de l'Estat de France sous Charles neufièvre», который вышел тремя изданиями в 1576, 1577 и 1578 гг. Следует лишь отметить, что со временем замирения Франции при Генрихе IV и позднее, в пору расцвета французского абсолютизма, когда вся «крамольная» литература была тщательно убрана с политической сцены, прославленное «Рассуждение о добровольном рабстве», сделавшееся библиографической редкостью, циркулировало только в узком кругу любителей вольнолюбивой литературы. Существует, однако, свидетельство, что им однажды весьма заинтересовался и такой охранитель абсолютизма, как кардинал Ришелье<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. Приложения, стр. 139.

<sup>2</sup> По свидетельству плодовитого писателя XVII века Тальмана де Рено (Tallemant des Réaux), Ришелье пожелал однажды познакомиться<sup>3</sup> со столь высоко ценившимся Монтенем «Рассуждением о добровольном рабстве». Однако тщетными оказались поиски этого памфлета у парижских букинистов. Но тут один предприимчивый и сообразительный торговец — Блез — взялся доставить трактат всемогущему кардиналу за изрядную сумму. Не затрудняя себя никакими розысками, он попросту расшил соответствующий том «Mémoires de l'Estat de France...» Симона Гуляра и взял из него ту часть, где напечатан был памфлет Ла Боэси. Так, Ришелье получил возможность прочесть произведение Ла Боэси. Мы не имеем никаких сведений о том, как он реагировал на эту

Любопытно, что интерес к знаменитому памфлету уже в XVI веке не ограничивался пределами Франции; небольшое извлечение из него существовало в Германии на немецком языке, им интересовались и его разыскивали в охваченных революцией Нидерландах.

Особенно возрос интерес к трактату Ла Боэси в XVIII веке. Можно почти с полной уверенностью сказать, что его знал революционный идеолог крестьянско-плебейских масс Жан Мелье (1664—1729)<sup>1</sup>. Французские просветители XVIII века, провозвестники буржуазных лозунгов свободы, равенства и братства, с интересом читали «Рассуждение о добровольном рабстве». Особенно зачитывался творением Ла Боэси автор «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо<sup>2</sup>. Все они имели к своим услугам трактат Ла Боэси, напечатанный в начале XVIII века в виде приложения к «Опытам» Монтеня. В таком виде, в виде спутника «Опытов», «Рассуждение» Ла Боэси получало все более широкое распространение. Но вскоре произведению Ла Боэси предстояло начать самостоятельное существование, имея свое особое

---

книгу, но когда читаешь весь этот эпизод, сообщаемый Тальманом де Рено, невольно вспоминаются слова Ла Боэси по поводу диалога Ксенофона «Гиерон, или портрет поведения тиранов»: «Да будет угодно богу, чтобы все тираны мира имели эту книгу перед глазами и чтобы она служила им зеркалом!» (см. стр. 27 наст. изд.).

<sup>1</sup> Как известно, Мелье написал перед смертью «Завещание», в котором дал уничтожающую критику современного ему общества и религии с точки зрения деревенской бедноты. Некоторые развивающие здесь рассуждения Мелье, например, о том, что народ должен только захотеть избавиться от рабства, и тогда тирания будет положен конец, что он должен перестать поддерживать королей, не давать им своего имущества, и тогда они превратятся в ничто; наконец, рекомендуемый Мелье метод борьбы с тиранией путем своего рода бойкота — очень близко напоминают построения Ла Боэси и сформулированы почти теми же словами. Мелье нигде прямо не ссылается на Ла Боэси, однако трудно предположить, чтобы при большом круге своего чтения Мелье не был знаком с «Рассуждением о добровольном рабстве», тем более, что «Опыты» Монтеня были его настольной книгой.

<sup>2</sup> Любопытные, почти дословные совпадения некоторых мыслей в «Общественном договоре» Руссо с соответствующими формулировками в «Рассуждении о добровольном рабстве» указывает Дезаймерис (См. R. Dezeimeris. De la Renaissance des Lettres à Bordeaux au XVI siècle. Bordeaux, 1864).

назначение. С момента первых же шагов французской буржуазной революции «Рассуждение о добровольном рабстве» стало играть ту роль «оружия критики» деспотизма, которую оно потом неизменно играло в моменты революционных взрывов или аналогичных ситуаций в разных странах, в различные времена.

Одно за другим, в 1789 и 1790 гг., выходят во Франции два издания трактата Ла Боэси, переведенного с неудобочитаемого языка XVI века на современный французский и приспособленного к нуждам текущего дня<sup>1</sup>.

В этот же период, когда идеи французской революции встретили сочувственный отклик в передовых кругах немецкой буржуазии, «Рассуждение о добровольном рабстве» появилось на страницах «Немецкого Меркурия» (*«Neuer Deutsche Merkur»*), в числе сотрудников которого были Гёте и Шиллер, в переводе Виленда (издателя названного журнала).

Еще до французской революции, в 1735 г., в Лондоне вышел английский перевод «Рассуждения о добровольном рабстве», сделанный с протестантского издания 1577 года<sup>2</sup>. И позже, как было сказано, в моменты ожесточенных классовых боев «Рассуждение о добровольном рабстве» играло роль набатного колокола, зовущего на борьбу против самодержавия и угнетения народных масс. Так было во время июльской монархии 1830 года во Франции, когда его издал в бурный

<sup>1</sup> Приводим полные названия их: 1) «Discours de Marius plébéien et consul, traduit en prose et en vers français du latin de Salluste, suivi du discours d'Etienne de la Boëtie, ami de Montaigne et conseiller du Parlement de Bordeaux sur la Servitude volontaire, traduit du français de son temps en français d'aujourd'hui par l'Ingénue, soldat dans le régiment de Navarre». S. 1., 1789 («Рассуждению о добровольном рабстве» предпослано предисловие, разъясняющее злободневность этого произведения); 2) «L'ami de la Révolution ou Philippiques dédiées aux tépésantants de la nation aux gardes nationales et à tous les Français», 1790—1791 («Рассуждение о добровольном рабстве» было напечатано в виде приложения к восьмой филиппике). Оба издания представляют собою большую библиографическую редкость.

<sup>2</sup> Название его: «A Discourse of Voluntary Servitude». Издание это, представляющее библиографическую редкость, значится в каталоге Британского музея.

период своего конфликта с папством и перехода в лагерь радикальной оппозиции Ламенне, выступавший в это время против реакционной политики правительства. В яростном предисловии, направленном против существующего режима, Ламенне писал о памфлете Ла Боэси<sup>1</sup>: «Это небольшое сочинение было до сих пор приложением к нескольким изданиям Монтеня, и нам неизвестно, чтобы оно когда-нибудь было напечатано отдельно; этим объясняется, почему оно осталось значительно менее известным, чем того, по нашему мнению, заслуживает. Оно принадлежит тому времени, когда только что вышедшие из долгого средневекового младенчества... народы, были подобны молодым орлятам, пробующим свое умение взлететь». И, определяя значение трактата Ла Боэси для своего времени, Ламенне указывал: «Борьба свободы против тирании не должна никогда прекращаться на земле; вот почему наиболее мужественные люди всегда нуждаются в сочувственном слове, которое вдохновляло бы их на борьбу так, чтобы они никогда не ослабевали в защите священных прав человека. Работа Ла Боэси, по нашему мнению, отвечает этой цели». Приведя затем описание всей пирамиды угнетателей, данное Ла Боэси, Ламенне отмечал: «Я полагаю, что нельзя не поразиться справедливости этих наблюдений. Это изложенная в сжатом виде на нескольких страницах вся история тирании, взятая в целом, ибо если меняются имена и формы, то сущность остается неизменной; она предстает перед нами все та же, во все времена и во всех странах».

<sup>1</sup> Имеется в виду следующее издание: «De la servitude volontaire ou le Contr'Un par Estienne de la Boëtie avec les notes de M. Coste et une préface de F. De La Mennais». Paris, 1835. В этом предисловии предпринята была попытка вскрыть истинный характер произведения Ла Боэси как горячего социального протеста против самодержавия и его методов угнетения народа. «Красноречивая убежденность,— писал здесь Ламенне,— подлинная горячность, часто глубокие мысли, редкая наблюдательность и проницательный ум, обобщающий в немногих основных чертах столь разнообразную в деталях историю угнетателей всех времен,— таковы необычные качества, отличающие это почти забытое произведение, которое мы издаем заново».— Приведенные в тексте цитаты из предисловия Ламенне см. на стр. 5, 8 и 25 указанного издания. Подчеркнуто нами.— Ф. К.-Б.

И обращаясь непосредственно в адрес режима июльской монархии во Франции, Ламенне заявлял в заключение своего предисловия:

«...Перевороты совершаются не путем заговоров, а путем революций. Революции же делаются народом, а всякое народное действие непредвиденно, так как оно производится внезапно. Могли ли бы еще несколько тысяч шпионов спасти в 89-м году старую монархию и спасут ли они реставрированную монархию 1830 года?»

В самом начале 1852 г. памфлет Ла Боэси был использован для того, чтобы заклеймить государственный переворот, произведенный 2 декабря 1851 г. Люи Бонапартом, «Наполеоном маленьким», и приведший через год к установлению во Франции второй империи. Вместе с двумя другими извлечениями — из трактата «О тирании» Альфиери<sup>1</sup> и из памфлета «Об узурпации» Бенжамена Констана<sup>2</sup> — он был издан под хлестким названием «Тирания, узурпация и добровольное рабство». Издание это начиналось с заявления, что опубликование указанных трех трактатов «должно послужить надлежащей духовной пищей для мужественных умов (таким образом, здесь ставилась та же цель, которую выдвигал и Ламенне; ср. выше.—Ф. К.-Б.) Пусть они пытаются и наслаждаются этим: это мозг kostей львов»<sup>3</sup>. Трактат Ла Боэси был напечатан почти полностью, в нем были опущены лишь все параллели, взятые из античности,

<sup>1</sup> Ненавистник тирании и приверженец аристократической республики, мечтавший о национальном объединении Италии, Витторио Альфиери (1749—1803) написал в 1777 г. трактат «О тирании» (*«Della tirannide»*).

<sup>2</sup> В 1813 г. «либерально-буржуазный», по определению Маркса, Бенжамен Констан (1767—1830) написал получивший широкую известность памфлет «О завоевательном духе и об узурпации в их взаимоотношениях с европейской цивилизацией». В указанном в тексте издании приводится только та часть памфлета Констана, которая посвящена узурпации. Составитель, производивший выборку, позаботился о том, чтобы все извлечение было направлено против государственного переворота 2 декабря 1851 г. Поэтому обличительный портрет тирана в последних главах, данный Констаном в применении к Наполеону I, здесь заострен был против Наполеона III.

<sup>3</sup> «Tyrannie, Usurpation et Servitude volontaire, trois traités extraits d'Alfieri, de Benjamin Constan et d'Estienne de la Boetie, par Auguste Poupart». Bruxelles, 1853, стр. 7.

и концовка. Основная мысль, пронизывавшая все произведение и направленная против переворота 2 декабря и нового самодержца — Наполеона III, была здесь формулирована так: «Длительное существование узурпации невозможно. Но если узурпация плачевна для судеб народа, то тем более это относится к реставрации. Если свергают короля, то потому, что невозможно больше выносить его. Поэтому, когда происходит реставрация, то она еще более нестерпима»<sup>1</sup>.

В период разложения второй империи (1860—1870) и усиления во Франции антибонапартистских и революционных выступлений активный участник этой борьбы, будущий боец Коммуны, погибший на ее бастионах, Верморель издал «Рассуждение о добровольном рабстве», со своим предисловием, в виде одного из выпусков «Национальной библиотеки избранных произведений лучших древних и современных авторов»<sup>2</sup>. Задача, которуюставил себе Верморель, состояла в том, чтобы извлечь трактат Ла Боэси из незаслуженного забвения и восстановить его подлинный смысл («contribuer à cette oeuvre de restitution et de réparation»). Вразрез с трактовками буржуазных историков, стремившихся представить памфлет Ла Боэси как простое упражнение в красноречии, Верморель сделал в своем предисловии попытку противопоставить им принципиально отличное раскрытие смысла «Рассуждения о добровольном рабстве». Он рассматривал трактат как боевое политическое произведение, направленное против гнета абсолютизма. Любопытно уже самое начало этого предисловия. «Идеи национальной независимости, свободы и социального прогресса, которые делают честь нашей стране,— писал Верморель,— не ведут свое начало лишь с 1789 года и от писателей XVIII века, являвшихся прославленными предшественниками революции; идеи эти имеют глубокие корни... Настало время вывести на свет и популяризовать имена благородных и талантливых людей, тех доселе мало-

<sup>1</sup> См. стр. 138 и сл. указанного издания.

<sup>2</sup> «De la Servitude volontaire ou le Contr'Un. Discours par Etienne de la Boetie, précédé d'une préface par A. Vermorel et suivi des lettres de Montaigne relatives à la Boetie». Paris, 1863. Bibliothèque Nationale. Collections de meilleurs auteurs anciens et modernes.

известных писателей, которые были отцами не только нашего языка, но и предками нашей свободы; к числу таких писателей относится Этьен Ла Боэси, который в те времена, когда французский язык находился еще в младенческом состоянии, первый нашел мужественные и сильные слова и первый поставил свой талант на служение идеям демократии и прогресса. Образ Ла Боэси долгое время искажался, так же как и характер того социального движения, блестящим представителем которого он являлся. Оценить его по заслугам — таков долг нашего времени и тех людей, которые в своей практической и умственной работе присоединяются к нему».

Основной вывод Вермореля гласил: «...Мы можем без всяких опасений представить его (т. е. Ла Боэси.—Ф. К.-Б.) как одного из героических предков революции 1789 года»<sup>1</sup>. И настаивая на этой мысли, Верморель в заключение своего предисловия еще раз подчеркнул роль Ла Боэси как предтечи: «Он опередил свое время,— писал Верморель,— и мог бы сказать о себе, как маркиз Поза в драме Шиллера: „Я гражданин будущих веков“»<sup>2</sup>.

Мы назвали лишь самые яркие случаи использования «Рассуждения о добровольном рабстве» спустя несколько веков после его написания. Число этих примеров можно было бы умножить. Но, не останавливаясь больше на них, скажем лишь, что еще в первой половине XVIII века, через полтораста лет после первого появления на свет, «Рассуждение о добровольном рабстве» было включено женевским издателем Монтеня, Шарлем Костом, в состав монтеневских «Опытов»<sup>3</sup>. С тех пор, за очень редкими исключениями, трактат Ла Боэси всегда печатался во всех изданиях «Опытов» в качестве необходимого

<sup>1</sup> «De la Servitude volontaire ou le Contr'Un», стр. 5—6 и 8.

<sup>2</sup> Там же, стр. 28. Л. Н. Толстой высоко ставил указанное предисловие Вермореля и некоторые его мысли даже выписал себе в записную книжку (см. об этом в наст. изд., стр. 109—110).

<sup>3</sup> Имеются в виду следующие издания «Опытов»: в 1727 г. в Женеве в пяти томах, в 1739 г. в Лондоне в шести томах и в 1745 г., тоже в Лондоне, в семи томах. Независимо от изданий Ш. Коста, «Рассуждение о добровольном рабстве» было напечатано в Лондоне в виде приложения к изданию «Опытов» в 1725 г.

приложения к ним. Уже благодаря этому, не говоря о самостоятельных специальных изданиях, «Рассуждение о добровольном рабстве» неустанно привлекало к себе внимание все более и более широких кругов читателей.

Но особенно усиленно интерес к трактату Ла Боэси проявился в XIX и XX веках, когда началось критическое изучение его и когда в связи с этим возникла обширная литература, ему посвященная. «Рассуждение о добровольном рабстве» было переведено к этому времени почти на все европейские языки.

Как известно, «книги имеют свою судьбу», не зависимую от замыслов их авторов. Небольшое «Рассуждение» Ла Боэси вышло за рамки своего времени, переросло свою эпоху и сделалось одним из выбранных творений политической литературы. Интерес к нему не иссякает вплоть до наших дней. В накаленной политической обстановке 1923 г. в Германии в издательстве германской компартии Malik-Verlag вышел параграфизированный и приспособленный для целей широкой пропаганды перевод «Рассуждения о добровольном рабстве» — «Die freiwillige Knechtschaft». В разгар второй империалистической войны «Рассуждение о добровольном рабстве» использовано было как оружие против человеконенавистнического фашизма и в качестве антифашистского памфлета издано в феврале 1942 г. в переводе на английский язык с любопытными подзаголовками к отдельным частям трактата, вроде: «Почему фюреры устраивают костры из книг?», «Для чего фюреры произносят речи?», «Фашистско-нацистская иерархия», «Шайка гангстеров» и т. п.<sup>1</sup>

Такова вкратце большая жизнь маленького трактата.

### 3

«Рассуждение о добровольном рабстве» — это прежде всего отрицание тирании, страстное и красноречивое обличение ее во имя естественной свободы человека. Но Ла Боэси не ограничивается

---

<sup>1</sup> «The Discours sur la servitude volontaire of Etienne de la Boetie, rendered into english by Harry Kurz». New-York, 1942.

отрицанием одной только тиарии. Тиария, в его понимании, совпадает с монархией. Его памфлет представляет по существу обвинительный акт против монархического принципа вообще. Уже на первой странице «Рассуждения» мы читаем, что «величайшее несчастье — зависеть от произвола властелина, относительно которого никогда не можешь знать, будет ли он добр, поскольку всегда в его власти быть дурным, когда он того захочет». И почти сейчас же вслед за этим идет такое рассуждение: «Я не хочу в данный момент разбирать столь часто обсуждавшийся вопрос, а именно: „Не являются ли другие формы государственного устройства лучшими, чем монархия?“ Если бы я хотел заняться этим вопросом, то прежде, чем решить, какое место должна занимать монархия среди других видов государств, я хотел бы знать, должна ли она вообще занимать какое бы то ни было место среди них. Действительно, трудно допустить, чтобы было хоть что-нибудь общественное при таком строев, при котором все принадлежит одному. Но этот вопрос я оставляю для другого раза; он потребовал бы особого рассмотрения и, наверное, повлек бы за собой тучу политических споров».

Руководствовался ли Ла Боэси в действительности этим соображением, когда уклонился от прямого разрешения проблемы монархического строя, или он здесь эзоповским языком намекнул на то, как трудно прямо ставить такой актуальный политический вопрос, но его отрицательное отношение к государственному порядку, в котором все принадлежит одному, выражено здесь достаточно недвусмысленно. О том же говорит — пусть косвенно! — и все содержание его «Рассуждения».

Основная идея работы Ла Боэси заключена уже в ее характерном названии. Дело идет в ней не просто о рабстве, о порабощении людей и народов разными деспотами, а о добровольном рабстве, добровольном подчинении их. Ла Боэси отлично понимает, что часто приходится подчиняться силе. Какой-нибудь король-завоеватель может силой покорить себе чужое государство и заставить жителей его служить себе. В этом нет ничего необычайного и загадочного. Точно так же два человека, может быть даже десять, могут, по трусости своей, бояться

одного. Но когда тысяча человек, когда миллион людей, когда тысяча городов покорно служат одному, то тут уже не может быть речи о трусости. Поразительно видеть, восклицает Ла Боэси, как «миллионы людей, согнув выю под ярмо, самым жалким образом служат, не при нуждаемые особенно большой силой, но будучи, как кажется, в некотором роде околдованными и зачарованными самым именем Одного, могущества которого они не должны бояться, ибо он ведь один, и качеств которых они не могут любить, ибо по отношению к ним он свиреп и бесчеловечен». Если же это все-таки имеет место, то лишь потому, что народы сами, добровольно вручают власть над собой одному человеку; народы сами порабощают себя. Между тем, чтобы добиться свободы — этого высшего из благ, не надо никаких особых усилий, не надо особого мужества, надо только захотеть этого. «Решитесь,— говорит Ла Боэси,— не служить ему более — и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы бились с ним (тираном.— Ф. К.-Б.), нападали на него, перестаньте только поддерживать его, и вы увидите, как он, подобно колоссу, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги».

Монтень в главе «О воспитании» высказал догадку, будто основная мысль «Рассуждения о добровольном рабстве» была навеяна Ла Боэси чтением одного места у Плутарха. «Замечание Плутарха,— писал Монтень,— что жители Азии находились в рабстве у одного человека, потому, что они не умели произнести одного единственного слова — „нет“, дало, может быть, Ла Боэси повод и идею его „Добровольного рабства“»<sup>1</sup>. Но дело, разумеется, не в вычитанной у Плутарха фразе. Ла Боэси глубоко убежден в том, что люди сами куют цепи своего рабства и сбросить их не требует особого труда. Достаточно для этого только сказать «нет», достаточно отказаться служить деспоту, одному, именем которого они зачарованы. Это единодушное «нет» должно положить конец рабству.

Но как объяснить все же околдованность масс, побуждающую их добровольно отдаваться в полную власть одного человека, «и притом

<sup>1</sup> «Essais de Montaigne», t. I Éd. Louandre, Paris, 1862, стр. 215.

не от какого-нибудь Геркулеса или Самсона», а часто «ничтожнейшего человечка», *hommeau*, как выражается Ла Боэси, рисуя образ ничего не стоящего деспота? Откуда взялась эта околдованность, зачарованность миллионных масс, как бы парализующая их волю?

Переходя к этому, Ла Боэси начинает развивать столь дорогие ему идеи естественной свободы и равенства всех людей.

Природа, по словам Ла Боэси, создала всех людей по одному образцу, и если она одних наделила большей силой или большим умом, чем других, то не для того, чтобы первые угнетали вторых; наоборот, эта добрая мать-природа устроила так только для того, чтобы теснее связать людей узами братской привязанности, поскольку одни из них будут нуждаться в помощи, а другие будут в состоянии оказать ее. Все мы — товарищи, и, как таковые, все мы от природы свободны. Рождаясь свободными, мы рождаемся и с естественным стремлением защищать свободу. Это не может вызывать никаких сомнений: ведь даже животные обнаруживают инстинкт свободы, и приручить их, привучить, например, лошадь, повиноваться человеку, требует немалого труда и усилий.

Что же могло заставить людей отказаться от великого дара природы — свободы? Причину этого Ла Боэси видит в насилии либо в обмане. И если на первых порах люди с трудом переносят порабощение, то впоследствии привычка, которая сильнее даже природы, заставляет их забыть об их исконной свободе и, наоборот, рабство начинает казаться им чем-то естественным. Таким образом, первооснова добровольного рабства — это, по Ла Боэси, насилие или обман, усугубленные действием привычки, имеющей над людьми, как показывает Ла Боэси, огромную власть. Выросшие в этом добровольном рабстве люди в массе своей полагают, что они всегда были порабощены, что отцы их находились в том же положении и что так оно и должно оставаться.

Правда, всегда находится известное число более одаренных от природы людей, которые чувствуют всю тяжесть ига и не могут не стремиться сбросить его. «Эти люди,— говорит Ла Боэси,— как

Улисс, который как на море, так и на суше тосковал по дыму своего родного очага, никогда не могут забыть о своих естественных правах и не вспоминать о первоначальной свободе своих предков». Обладая выдающимися способностями и отшлифовав свой ум научными занятиями, они не могут примириться с порабощением, как бы его ни прикрашивали. Но их стремление не находит себе выхода, ибо, находясь под владычеством тирана, они — как бы велико ни было их число — лишены всякой возможности делать, говорить и делиться своими мыслями. Они не могут узнать о существовании друг друга и остаются разрозненными одиночками.

К всепокоряющему действию привычки присоединяется хитроумная политика тиранов, развращающих массы подачками, цирковыми и театральными зрелищами, раздачами хлеба и т. п., как это практиковали, в частности, римские цезари по отношению к развращенной римской черни. Далее, государи стараются обольщать народные массы всяким религиозным обманом и дурманом. К каким только уловкам и выдумкам, играя на суеверии невежественных людей, не прибегали государи для укрепления своей тиарии! Так, они внушали веру в то, что их прикосновение излечивает от разных болезней, они приписывали себе различные сверхъестественные качества. Выступая в роли чудотворцев, они добивались обожествления своей личности. Возмущаясь суеверием невежественных людей, принимавших за чистую монету весь этот вздор, Ла Боэси исключает, однако, из этой критики французских королей, которых, как известно, тоже наделяли чудотворными качествами. Но насколько натянута и двусмысленна эта оговорка Ла Боэси, можно судить по тому, что он немедленно вслед за этим прибавляет: «Однако, если бы даже это было и не так, я все же не хотел бы оспаривать истинности наших сказаний, ни слишком усердно их раскачивать, чтобы не лишить прелести этот прекрасный источник, из которого может так усиленно черпать наша Французская поэзия, в настоящее время не вычурная, но как бы совершенно обновленная нашим Ронсаром, нашим Баифом, нашим Дюбелле».

Перед нами до сих пор — довольно стройная теория «добровольного рабства».

Какой же выход из этого предлагает Ла Боэси? Как справиться со злом, которое он так ярко описал? Как освободиться от добровольного рабства? Удовлетворительного ответа у Ла Боэси мы не найдем. Всеобщее «нет», всеобщий отказ от повиновения тирану, который так подчеркивает в начале «Рассуждения» Ла Боэси, предполагает всеобщее могучее стремление к свободе, которого, по мнению Ла Боэси, нет у подавляющего большинства населения, отупевшего под игом тирании за века добровольного рабства.

У Ла Боэси встречается несколько хвалебных строк, посвященных древним тираноубийцам — Гармодию и Аристогитону; сочувственно отзывается он о борьбе Брута Старшего и Брута Младшего, Кассия и других (классовой подоплеки борьбы их Ла Боэси, разумеется, не понимал), но это не значит, что Ла Боэси призывает к тираноубийству или цареубийству как к практической программе действий, как к средству освободить народ от рабства. Он отлично знает, что цареубийство не приводило к желанной цели, знает он также, что святым именем свободы не раз прикрывались замыслы честолюбцев, свергавших старую тиранию для замены ее новым деспотизмом.

В чем же в таком случае видел Ла Боэси выход из положения, какой путь намечал он, чтобы избавиться от тирании? Повидимому, Ла Боэси, подобно многим другим гуманистам, возлагал особые надежды на силу разума, который он так превозносил, на рост просвещения. Важную и почетную роль должны были сыграть при этом те отдельные просвещенные люди, в сердцах которых не заглохла естественная любовь к свободе. Эти вольнолюбивые одиночки, преодолев все препоны, чинимые тиранией, и объединив усилия, сумеют своей просветительной работой постепенно раскрыть глаза народу, и, когда придет это время, народ скажет свое могучее и решалющее «нет», которое положит конец рабству миллионов. Вероятнее всего, что роль этих наставников народа, обучающих его добиваться свободы, Ла Боэси возлагал на ревнителей нового просвещения — гуманистов.

## 4

Мы еще не дошли, однако, до конца трактата Ла Боэси. Вслед за отступлением о перлах поэзии, которые новая поэтическая школа может извлечь из связанных с французскими королями и их эмблемами сказаний, нас встречает новый оборот, или, вернее, поворот, мысли Ла Боэси. Мы приходим теперь, говорит Ла Боэси, к пункту, являющемуся «секретом» и главным оружием тирании. Это — не вооруженная сила, не гвардия, которая часто низвергала тиранов, заменяя их, однако, другими деспотами. «Не отряды конной или пешей охраны и не оружие защищают тиранов», — высказывает свою сокровенную мысль Ла Боэси: «...тирана всегда поддерживает четыре или пять человек, четыре или пять человек держат для него в порабощении всю страну». У тиранов всегда было пять или шесть приспешников, соучастников их насилий, жестокостей и разврата. С этими шестью фаворитами оказываются связанными своими интересами шестьсот человек меньшего ранга, пользующихся их милостями, от которых в свою очередь зависят шесть тысяч других лиц — разных управляющих провинциями, заведующих финансами, и так далее вниз, охватывая под конец миллионы заинтересованных в тирании людей. И в результате, по словам Ла Боэси, «оказывается, что людей, которым тирания выгодна, почти столько же, сколько и тех, которым дорога свобода». И, резюмируя эту новую концепцию тирании, Ла Боэси формулирует ее так: «Тиран, таким образом, порабощает одних подданных с помощью других».

Обличив затем на нескольких страницах приспешников тирана, указав на всю непрочность его милостей и на то, что фавориты тирана окружены лютой ненавистью народа, видящего в них главных виновников своих бедствий, «пожирателей народа», Ла Боэси заканчивает свое «Рассуждение» следующим благочестивым призывом:

«Станем же иногда, станем поступать добродетельно: поднимем очи горе либо ради нашей чести, либо из любви к самой добродетели, либо, говоря по совести, ради любви и чести всемогущего бога, достоверного свидетеля наших поступков и праведного судьи наших прегрешений. Со своей стороны я убежден,— и думаю, что не ошибаюсь

в этом, ибо нет для бога, при всей его благости и всем его милосердии, ничего омерзительнее, чем тирания,— что им в загробной жизни отдельно уготована какая-то особая кара для тиранов и их приспешников».

Выше было сказано о новом обороте, или повороте, мысли Ла Боэси. Действительно, каково было построение автора в начале «Рассуждения», когда он описывал картину добровольного рабства? Перед нами — общество, расколотое на две совершенно неравномерные части: на одной стороне — одинокий тиран, один, которому противостояла, на другой стороне, вся масса населения, покорная жертва вековой привычки, зачарованная именем одного, но способная, когда пройдут эти чары и в ней проснется дремлющий естественный инстинкт свободы, одним своим отказом повиноваться низвергнуть здание тирании. На последних же страницах «Рассуждения» общество предстает перед нами, разъедаемое глубоким социальным антагонизмом, раскалывающим его на две чуть ли не равные и враждебные одна другой части. Это, правда, не классовое расслоение, но это во всяком случае распадение общества на угнетаемых и угнетателей, причем последние образуют своего рода пирамиду, иерархическую лестницу («шайку гангстеров», как ее называет на современный лад один из авторов), верхушку которой составляет тиран, самодержец.

О добровольном рабстве говорить при этом не приходится --- это рабство подневольное, и недаром сам Ла Боэси указывает, что тиран держит в рабстве одну часть населения с помощью другой. Как бы ни толковать социальную пирамиду Ла Боэси: видеть ли в ней вместе с некоторыми авторами бюрократический аппарат централизованного государства, или же сверх того множество других, пользующихся привилегиями и подачками, правящих лиц и групп, но ясно, что власть одного в этом случае имеет прочную опору и что рассчитывать на низвержение ее путем всеобщего «нет» не приходится. И неудивительно поэтому, если в заключительном абзаце, так неожиданно заканчивающем «Рассуждение о добровольном рабстве», Ла Боэси приглашает нас поднять очи горе и уповать на божие

возмездие тирану: вместо земных способов борьбы с поработителем людей остается рассчитывать на помощь небесных сил.

Таким образом, «Рассуждение о добровольном рабстве» Ла Боэси страдает коренным противоречием, давая две различные концепции политического рабства народов. Но противоречие это, слаженное красноречивым и пылким изложением, бросается в глаза, только когда начинаешь осмысливать теоретическое построение автора.

## 5

«Рассуждение о добровольном рабстве» принадлежит той знаменательной эпохе, когда совершался процесс разрушения феодальной системы и развития новых, капиталистических отношений. Характеризуя главные моменты этой эпохи, Энгельс писал: «Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу национальные монархии, в которых получили свое развитие современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне..., но за ними показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах»<sup>1</sup>. Таким образом, разрушение феодализма и развитие современного буржуазного общества, формирование современных, т. е. буржуазных, европейских наций и выступление на арену начатков современного пролетариата — таковы основные черты эпохи первоначального накопления. Этот процесс связан был с экспроприацией сельскохозяйственного производителя и обезземелием крестьянства, с пролетаризацией широких масс в городе и в деревне и с усилением полицейского произвола всего аппарата принуждения крепнувшего абсолютского государства. Во Франции этот переходный от феодализма к капитализму период был исключительно бурным. Все пришло в движение, все поставлено было

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. XIV, стр. 475.

под вопрос. Ломка старых устоев совершилась не только в базисе французского общества, она ярко отражалась и в его надстройке, сопровождаясь резким обострением классовой борьбы во всех ее проявлениях. Одним из показателей этого обострения было нарастание недовольства и протesta во всех слоях общества. Его отчетливо можно проследить во французской публицистике уже с конца XV века, и направлялось оно в первую очередь против усилившегося королевского самовластвия. Тема о границах королевской власти, о королевской власти, умеряющей (*tempérée*) законами, о гарантиях против самовластвия не сходит со страниц политических трактатов даже у идеологов и защитников абсолютизма. Этот протест стал особенно усиливаться в XVI веке.

Вспомним, чем были во Франции сороковые годы XVI века, годы интеллектуального формирования Ла Боэси. В 1541 г. вспыхнуло восстание в Бордо, вызванное введением налога на соль — ненавистной населению габели. Восстание встретило сочувственный отклик в других городах и было открыто поддержано Ла-Рошелью. Для подавления этого восстания явился сам король Франциск I. В 1545 г. произошло массовое избиение вальденсов в Провансе, во время которого уничтожено было три города, 22 деревни и убито несколько тысяч человек. В следующем году подверглась страшному разгрому небольшая община в Мон, состоявшая главным образом из рабочих-ткачей, протест которых против душивших их феодальных пут выразился в присоединении к реформации. Напуганное ростом движения, правительство прибегло к террору: на городской рыночной площади в Мон было зажжено одновременно четырнадцать костров, не говоря о том, что многие и многие «еретики» были заключены в тюрьмы. В том же 1546 г. был сожжен в Париже за атеизм известный гуманист Этьен Доле. Так посреди гонений и костров заканчивалось правление Франциска I (1515—1547).

Та же мрачная картина наблюдалась и в правление его преемника, Генриха II (1547—1559), ознаменовавшего свой приход к власти учреждением особого чрезвычайного трибунала — пресловутой «Огненной палаты» (*«Chambre ardente»*) для расправы с «еретиками», —

широкая рубрика, под которую легко было подвести все неблагонадежные элементы<sup>1</sup>. В 1548 г. последовало вызванное введением новых налогов (в частности, нового налога на соль) мощное восстание в Бордо, подавленное правительством с исключительной жестокостью. И вот это время, освещенное зловещим заревом костров и отмеченное вспыхивавшими то тут, то там народными движениями, и было той действительностью, которая окружала Ла Боэси с первых же шагов его сознательной жизни. Эта реальность, непрерывно стоявшая перед умственным взором Ла Боэси, и перешла на страницы его трактата. Преждевременно созревший Ла Боэси был чуток к общественным бедствиям; политический темперамент обнаружился в нем очень рано. «В его трактате „Рассуждение о добровольном рабстве“, — справедливо отмечал русский исследователь Иван Васильевич Лучицкий, — выразилось все то недовольство, которое накопилось в течение полувека против власти, так бесцеремонно начавшей обращаться с правами и вольностями народов и все сильнее и сильнее душившей народ»<sup>2</sup>.

Французский историк XVI века де Ту (1553—1617), подводя в своей «Всемирной истории» итоги восстания в Бордо, пришел к следующему выводу. Восстание это, по мысли де Ту, еще раз показало, что «у королей длинные руки», т. е. что они достигают своих целей с помощью целой иерархии лиц, тесно связанных между собой, подобно множеству звеньев одной общей цепи. «Этьен де Ла Боэси из Сарла, — писал вслед за этим де Ту, — ставший впоследствии украшением бордоского парламента и уже тогда, будучи юношой, едва достигшим 19 лет, обнаруживший преждевременную зрелость суждения, воспользовался этими волнениями, чтобы углубить это размышление в небольшом сочинении под названием „Contr'Un, или О добровольном рабстве“».

<sup>1</sup> Только за три года (1547—1550) «Огненная палата» вынесла около 500 обвинительных приговоров; из них шестьдесят были приговорами к сожжению на костре.

<sup>2</sup> И. В. Лучицкий. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. Киев, 1871, стр. 40.

Де Ту тем самым подтверждал, что идеи, развитые Ла Боэси в «Рассуждении о добровольном рабстве», были связаны с окружавшей его политической действительностью и что, в частности, на опыте бордоского восстания Ла Боэси имел возможность лишний раз убедиться в том, что короли сильны не сами по себе, а потому, что они стоят во главе организованной пирамиды власть имущих. Между тем приведенное мнение де Ту часто толковалось неправильно: де Ту приписывали утверждение, будто «Рассуждение о добровольном рабстве» обязано своим появлением на свет именно бордоскому восстанию. У де Ту, как мы видели, такого утверждения нет.

Однако независимо от того, какое конкретное событие из жизни тогдашней Франции дало Ла Боэси повод к написанию его трактата, ясно, что толчок к написанию «Рассуждения о добровольном рабстве» исходил из его жгучей современности. При этом цель Ла Боэси состояла не в обличении того или иного отдельного акта деспотизма, а в обличении всей системы обострившегося гнета французского абсолютизма в целом, гнета, совершившегося в обстановке первоначального накопления во Франции и сопровождавшегося и здесь для народных масс всеми теми бедствиями, история которых, по словам Маркса, «вписана в летописи человечества пламенеющим языком меча и огня»<sup>1</sup>.

Ведь и в эпопее старшего современника Ла Боэси — Рабле (1494—1553), при всем отличии ее литературного жанра, легко проследить развернутую критику существующего строя, данную в процессе смотра современной Рабле действительности. Достаточно вспомнить несравненное описание методов управления тогдашней Францией — продажность, взяточничество, тунеядство разбухшей армии чиновников государственного аппарата — и в особенности непревзойденную картину высасывающего все соки из населения огромного, разветвленнейшего налогового аппарата. Рабле изображает его в виде отжимающего «золотой сок» давильного пресса, отдельным частям которого он дает выразительные названия: винт пресса назывался

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. XVII, стр. 783.

приходом, лохань — расходом, большая гайка — государством, днище — недоимочными деньгами и т. д. Разве весь этот воспроизведенный в романе Рабле снимок с действительности не свидетельствовал красноречиво об усилившемся политическом гнете? И разве нарисованное Рабле Телемское аббатство не было выражением его попытки создать некое идеальное общежитие, противопоставленное непривлекательной окружающей действительности? Ла Боэси, разумеется, не был одиночкой в своем обличении и протесте против политических порядков тогдашней Франции. Те же указания, те же жалобы, только поиному выраженные, мы найдем в политических писаниях многих старших и младших современников Ла Боэси: и у такого поборника просвещенной веротерпимой монархии, управляемой при содействии парламентов и генеральных штатов, как Этьен Паскье (1529—1615), и у Агриппы д'Обинье (1550—1630), и даже у такого идеолога абсолютизма, как Жан Боден (1530—1596). Этот протест против деспотизма королевской власти действительно стал постоянным сюжетом французской публистики того времени, который, по правильному замечанию Монтеня, трактовался «в тысяче всевозможных сочинений».

Итак, каков же был замысел Ла Боэси при написании им «Рассуждения о добровольном рабстве»?

Излагая разыгравшуюся вскоре после смерти Ла Боэси борьбу вокруг опубликования его произведения, мы убедились, что уже современники Ла Боэси разделились по вопросу о понимании характера «Рассуждения о добровольном рабстве», что уже в XVI веке возникли те две основные трактовки, которые, с известными изменениями, и по сей день господствуют в литературе о Ла Боэси. Опубликовавшие его сначала частично, потом полностью гугеноты использовали его как боевой политический памфlet, направленный против крепнувшего абсолютизма. Свидетельство же Монтеня, которое мы подробно разберем ниже, соответственно искаженное, послужило основой многих лжетолкований.

Не приводя длинного перечня буржуазных авторов, стремившихся фальсифицировать образ Ла Боэси и пытавшихся представить его

трактат как простое школьное упражнение на заданную тему, остановимся лишь на двух примерах таких искажающих оценок памфлета: Сент-Бева и Арменго. Именно Сент-Бев положил начало тому поклепу на Ла Боэси, который позднее перепевали на все лады его буржуазные единомышленники: трактат Ла Боэси, уверяет Сент-Бев, это — «классическая декламация, шедевр десятиклассника». Однако это утверждение, этот приговор носит явно реакционную окраску. Достаточно расшифровать, к кому относились злобные слова из статьи Сент-Бева вроде следующих: «В 1789 г. и совсем недавно, уже в наши дни, вытащили на свет этот трактат опять для той же цели, чтобы сделать из него факел»<sup>1</sup>. Говоря об этой «совсем недавней» публикации памфлета Ла Боэси, Сент-Бев имел в виду не только издание, направленное против июльской монархии, но и указанное выше издание «Рассуждения о добровольном рабстве» вместе с трактатами «О тирании» и «Об узурпации», являвшееся ответом на государственный переворот 2 декабря 1851 г. и изобличавшее режим Наполеона III<sup>2</sup>.

Борцы против июльской монархии, борцы против второй империи во Франции — вот кто были те «бунтовщики и смутьяны», на которых обрушивался Сент-Бев. Реакционный пафос негодования Сент-Бева не нуждается в дальнейших комментариях. Нам необходимо было только раскрыть, каков был тот мутный источник, из которого не переставали черпать реакционные буржуазные авторы.

В качестве второго примера может служить версия другого буржуазного автора, современного издателя собрания сочинений Монтеня — Арменго. Громоздя одну гипотезу на другую и не решаясь отрицать политическую направленность трактата Ла Боэси, Арменго доказывал, что «Рассуждение о добровольном рабстве» в том виде, как оно было впервые опубликовано, представляло переработку Монтенем первоначального текста Ла Боэси. Монтень, по уверению Арменго, превратил его в острый политический памфlet, направленный

<sup>1</sup> Sainte-Beuve. *Les causeries du lundi*, t. IX, Paris, s. a. 147.

<sup>2</sup> См. наст. изд., стр. 71.

против короля Генриха III и его приспешников, и затем передал его для напечатания гугенотам, а сам в своих «Опытах», по соглашению с теми же гугенотами, для отвода глаз возмущался опубликованием трактата Ла Боэси в сборнике гугенотских памфлетов и старался представить «Рассуждение о добровольном рабстве» безобидным литературным упражнением. Приходится только удивляться, что и у Арменго, вызвавшего своим ворохом гипотез и превращением Монтеня в прожженного интригана-отступника возмущение даже многих буржуазных знатоков Монтеня, нашлись тем не менее свои горе-последователи.

Таковы те толкования, которых, с известными вариациями, до наших дней придерживается большинство буржуазных авторов, всячески старающихся снизить политическое значение трактата Ла Боэси. Единственная заслуживающая серьезного внимания попытка восстановить подлинный смысл «Рассуждения о добровольном рабстве» принадлежит коммунару Верморелю, но к ней мы еще вернемся в другой связи.

Как же выглядит «Рассуждение о добровольном рабстве», рассматриваемое в широкой раме окружающей его действительности, без которой его невозможно понять?

Нет никаких сомнений в том, что «Рассуждение о добровольном рабстве» — это не талантливое литературное упражнение на избитую тему о пагубности тирании. Это серьезная и искренняя вещь, в каждой строке которой чувствуются ненависть к деспотизму, к монархии вообще и горячая любовь к свободе, которая является естественным достоянием всех людей. Следует при этом заметить, что свобода, которую Ла Боэси считает естественным уделом всякого человека, не имеет ничего общего с той свободой, к которой взвывали представители и идеологи родового дворянства и феодальной знати и которая у них на деле означала *свободу как феодальную привилегию господствующего класса*. У Ла Боэси эта свобода, как и равенство, покоящиеся на разуме и мудрых законах природы, поразительно напоминают прославление свободы у Руссо и звучат как предвосхищение буржуазных лозунгов французской революции.

С гениальной прозорливостью Л. Н. Толстой сразу же по ознакомлении с произведением Ла Боэси разглядел всю фальшь попытки трактовать его как упражнение в красноречии. «Какой вздор! — с возмущением говорил по этому поводу Лев Николаевич. — Это именно был юноша, еще не одуренный наукой и не уверовавший в правительство»<sup>1</sup>.

Последователи Сент-Бева сошлются на свидетельство такого близкого к Ла Боэси человека, как Монтень, который ведь называет «Рассуждение о добровольном рабстве» именно упражнением. В опровержение этого мы не станем указывать на то, что Монтень такой характеристикой «Рассуждения» хотел защитить память своего покойного друга от возможных обвинений в революционных устремлениях. Мы предложим только брать свидетельство Монтеня полностью, не толкуя его превратно. Действительно, вслед за фразой о том, что «Рассуждение» представляет собой упражнение, написанное Ла Боэси в ранней молодости, мы читаем следующее: «Я,— пишет Монтень,— нисколько не сомневаюсь, что он (т. е. Ла Боэси.— Ф. К.-Б.) верил в то, что писал, так как он был достаточно совестлив, чтобы не лгать даже в шутке»<sup>2</sup>.

Таким образом, если «Рассуждение» и было упражнением, то таким, которое, по словам самого же Монтеня, выражало истинные убеждения его автора. И дабы не было в этом никаких сомнений, Монтень тут же добавляет: «И знаю я, кроме того, что если бы перед ним был выбор, то он предпочел бы родиться в Венеции, а не в Сарла, и с полным основанием», т. е. в республиканской Венеции, предупреждает нас Монтень, а не в одном из городов французской монархии. Монтень, таким образом, весьма недвусмысленно подтверждает республиканские взгляды или настроения Ла Боэси.

Да и независимо от свидетельства Монтеня, об этом достаточно убедительно говорят страницы «Рассуждения», в которых выражается преклонение Ла Боэси перед республиканским строем античного Рима

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. ниже, стр. 108.

<sup>2</sup> См. наст. изд., стр. 139.

или современной ему Венеции (заметим в скобках, что положительная трактовка порядков этой купеческой олигархии, маскировавшей свою свирепую тиранию республиканскими формами, была весьма распространена в то время).

Сообщив, таким образом, о республиканизме Ла Боэси, Монтень, однако, прибавляет, что в душе Ла Боэси «было верховно запечатлено другое правило — благоговейнейшим образом повиноваться и подчиняться законам страны, в которой он родился». Монтень в данном случае, повидимому, переносил на Ла Боэси свой собственный политический консерватизм, ибо такова была его собственная верховная максима, «правило правил», которым он руководствовался в повседневной политической деятельности.

Приведенные заявления Монтеня в главе «О дружбе» крайне важны, ибо монтеневская характеристика Ла Боэси и его «Рассуждения о добровольном рабстве», если внести в нее надлежащую поправку, близка к истине. «Рассуждение о добровольном рабстве», конечно, не просто литературная проба пера наредкость даровитого юноши, не просто навеянное чтением классиков упражнение на тему о пагубности тирании. Оно выражало подлинные, задушевные мысли и убеждения самого автора. Ла Боэси, несомненно, метил в политические порядки тогдашней Франции. Этим объясняется множество слабо завуалированных намеков и выпадов против монархии Валуа. Так, говоря о том, как тиран расправляется с сотней тысяч городов, лишая их свободы, Ла Боэси замечает: «Кто поверил бы этому, если бы он только слышал об этом, а не видел своими глазами, и если бы это происходило только в чужих и отдаленных странах...»<sup>1</sup> Говоря о современных самодержцах, следующих примерам римских императоров, Ла Боэси пишет: «В наши дни по их стопам идут те, которые не совершают ни одного злодеяния, даже самого крупного, не предпослав этому каких-нибудь прекрасных слов об общественном благе и общем благосостоянии»<sup>2</sup>. Или в другом месте, говоря о том, как при

<sup>1</sup> См. наст. изд., стр. 11.

<sup>2</sup> См. наст. изд., стр. 30.

Цезаре разбух сенат, как создавались новые чины и должности для укрепления тирании, Ла Боэси явно намекает на политику Франциска I и Генриха II, направленную на создание новых должностей в парижском парламенте (который французские легисты называли обычно сенатом) с целью извлечения дохода от продажи этих должностей. Рисуя недолговечность благополучия пристешников тирана, полностью зависящих от произвола тирана, Ла Боэси советует, чтобы убедиться в этом, раскрыть все древние истории и заглянуть в современные хроники. Говоря опять-таки о фаворитах и приведя несколько примеров из римской истории, Ла Боэси описывает, как они ненавистны всему свету, всему народу, который вплоть до крестьян, вплоть до землепашцев знает и проклинает их имена. Ясно, что фаворитами, имена которых знают даже крестьяне, не могли быть античные Бурр и Сенека, о которых идет речь у Ла Боэси перед этим. Для современников Ла Боэси все эти намеки были, разумеется, весьма прозрачны, и они без труда узнавали в них определенные, всем хорошо известные фигуры.

В «Рассуждении о добровольном рабстве» Ла Боэси дал разрядку своим размышлениям о той действительности, в туще событий которой он стоял. Писал «Рассуждение», клеймя тиранию, под которой он понимал всякое монархическое самодержавие вообще, преклонявшийся перед республиканским строем молодой человек, пытавшийся, может быть прежде всего для самого себя, осмыслить происходящее. Писал не отделявая, не предназначая для печати. Отсюда множество мелких неувязок в трактате Ла Боэси и теоретическая неслаженность между двумя концепциями государства, о которой говорилось выше.

Однако, как это часто бывает в истории, не только далекие потомки, но уже и некоторые современники Ла Боэси подхватили и подняли на щит передовые идеи трактата — яростное обличение деспотизма и пылкую защиту прав порабощенных народов. Это была сильная сторона трактата, эти стрелы Ла Боэси метко били в цель. И именно потому, что острие критики Ла Боэси было направлено против темных и самых уязвимых сторон французского абсолютизма, трактат его как нельзя лучше подошел к политической обстановке во

время гражданских войн второй половины XVI века и был использован французскими тираноборцами в их борьбе против королевского абсолютизма.

Так случилось, что в политической литературе семидесятых годов XVI века произведение Ла Боэси прослыло как боевой тираноборческий памфлет, при всем различии позиций Ла Боэси и тираноборцев. Действительно, подобно тому, как требование свободы у Ла Боэси и его утверждение, что свобода есть великий закон природы, принципиально отличались от требования свободы, защищавшегося руководителями феодальной знати, точно так же и протест Ла Боэси против темных сторон французского абсолютизма не имел в себе никаких элементов феодальной реакции, никаких сепаратистских требований, характерных для названной части господствующего класса. В этом отличие трактата Ла Боэси от тираноборческой литературы.

Ведь основное внимание Ла Боэси при разоблачении деспотизма направлено на то, что деспотизм пользуется противоречиями между различными общественными группами, чтобы закабалять одних людей посредством других, что он эксплуатирует темноту, невежество простого народа, используя его предрассудки, что он действует на массы не только обманом, но и религиозным дурманом, что он развращает народ, пытаясь добиться власти над умами. Но именно эта цепь рассуждений Ла Боэси свидетельствует о том, что в его трактате совсем другая устремленность, совсем иной акцент, чем в политических писаниях боровшихся против растущего абсолютизма представителей феодального дворянства, отодвинутого абсолютизмом на задний план. Это же подтверждает и другой замечательный тезис Ла Боэси, что, будучи рабом, человек не знает и отечества. Героем человека делает не рабство, а защита своей свободы. «Пусть поставят,— говорится в „Рассуждении“,— на одной стороне пятьдесят тысяч вооруженных людей и столько же на другой; пусть выстроят их в боевой порядок; пусть они сойдутся и начнут биться друг с другом: одни — свободные и борющиеся за свою свободу, другие — за то, чтобы ее у них отнять. Какой стороне можно предсказывать победу? Кто из них, думаете вы, с большей отвагой пойдет в бой? Те ли, которые в награду за

свои усилия надеются сохранить свою свободу, или те, которые не могут ждать за нанесенные и принятые на себя удары никакого другого вознаграждения, кроме порабощения других?»

Вся эта связная цепь аргументов у Ла Боэси говорит о том, что мы имеем дело с произведением, в котором отразились первые пробы политической мысли, отвечающей интересам и потребностям нового класса — интересам буржуазии в пору ее борьбы против феодально-абсолютистского порядка. Но это были покамест только прозрения, короткие идеи, которые предстояло продолжить, наполнить конкретным содержанием. Именно поэтому «Рассуждению о добровольном рабстве» суждено было жить в веках.

*Ф. Коган-Бернштейн.*





## ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ И ЛА БОЭСИ

Крупнейший знаток русской жизни, ее многомиллионных народных масс, Алексей Максимович Горький писал о Льве Николаевиче Толстом:

«Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком»<sup>1</sup>. Приходится признать, что многие из нас недостаточно еще знают весь круг вопросов, которыми интересовался Л. Н. Толстой. В этом можно наглядно убедиться на примере, который составит содержание данной статьи.

На первый взгляд, сопоставление имени Льва Николаевича Толстого с именем французского писателя XVI века Ла Боэси может показаться странным. В действительности же судьба трактата Ла Боэси в России, при ближайшем рассмотрении, оказывается страницей из жизни Льва Николаевича Толстого<sup>2</sup>. Не кому иному, как Л. Н. Толстому, принадлежит мысль об ознакомлении широких кругов русских читателей с произведением Ла Боэси и осуществление этой идеи на практике.

---

<sup>1</sup> А. М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939. стр. 296.

<sup>2</sup> Касающиеся этого вопроса рукописи и письма Л. Н. Толстого изучены нами по архиву Государственного музея Л. Н. Толстого. Материалы Л. Н. Толстого, относящиеся к Ла Боэси, собраны и публикуются впервые.

Интерес Л. Н. Толстого к Ла Боэси — давнего происхождения. Проследить точно истоки его невозможно. Зато можно вполне определенно установить, что Толстой решил включить довольно обширное извлечение из «Рассуждения о добровольном рабстве» в задуманный им еще в восьмидесятых годах «Круг чтения», т. е. в издание, которое замышлялось Толстым для ознакомления широких читательских масс с избранными творениями мировой литературы. 17 февраля 1884 г. Лев Николаевич писал В. Г. Черткову: «Я увлекаюсь все больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегало слова — для народа, потому, что сущность мысли в том, чтобы не было деления — народа и не-народа»<sup>1</sup>. И в письме к тому же Черткову, написанном спустя более года (в июне 1885 г.), Толстой впервые говорит о своем замысле составить «Круг чтения». Он пишет: «Очень бы мне хотелось составить круг чтения, т. е. ряд книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно знать человеку прежде всего — в чем его жизнь, его благо...»<sup>2</sup>

Толстой, разумеется, имел в виду в первую очередь «выборки» из авторов, касающиеся нравственно-философских вопросов в духе его собственного учения. Но нравственно-философские вопросы были неотделимо связаны у Толстого с беспощадной критикой царского самодержавного строя. Общеизвестно гениальное ленинское определение роли Толстого как «зеркала русской революции». Оно означало, что правильная оценка Л. Н. Толстого может быть дана только с точки зрения развития русской революции. Владимир Ильич Ленин писал по этому поводу: «...Толстой поразительно реалистично воплотил в своих

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч. (юбилейное), т. 85. М., 1935, стр. 27. Мысль об издании полезных книг для народа чрезвычайно занимала в это время Л. Н. Толстого. Об этом свидетельствует и относящаяся к этому же времени «Речь о народных изданиях» (см. т. 25, стр. 528 указ. изд.), в которой Л. Н. Толстой развивает ту же мысль и, решительно отвергая деление на «народ и не-народ», заявляет: «Пускай исчезнет прежде всего... это искусственное деление: народ и не-народ, интеллигенция (этого деления и не существует; сколько я знаю грамотных мужиков, несомненно более способных учиться, чем кандидаты университета)...»

<sup>2</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 85, стр. 218.

произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость. ...Это была буржуазная революция, ибо ее непосредственной задачей было свержение царского самодержавия, царской монархии и разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии<sup>1</sup>. Вот это-то разоблачение царского самодержавия, царской монархии составляло неотъемлемую часть проповеди Толстого. В своих «просветительских» работах Толстой, наряду со своей религиозно-нравственной проповедью, выражавшей, говоря словами В. И. Ленина, «...предрассудок Толстого, а не его разум...»<sup>2</sup>, уделял большое внимание критике и обличению всех зол царского самодержавия, со всем его полицейско-бюрократическим аппаратом насилия.

Однако составление «Круга чтения» оказалось делом многотрудным и многосложным: иные замыслы и работы отвлекали Льва Николаевича от задуманного предприятия, но он не оставлял мысли о нем. Письма Толстого и записи в его дневниках свидетельствуют, как беспокоило Толстого то, что это дело, которому он придавал такое огромное значение, не налаживается. Так, в письме к своему другу и почитателю Г. А. Русанову от 1 марта 1888 г. Толстой пишет:

«Вопрос о том, что читать доброе по русски? заставляет меня страдать укорами совести. Давно уже я понял, что нужен этот Круг Чтения, давно уже я читал многое могущее и должноствующее войти в этот «Круг Чтения» и давно я имею возможность и перевести и издать, и я ничего этого не сделал»<sup>3</sup>.

Упоминания о Ла Боэси мы встречаем в переписке Толстого также в начале восьмидесятых годов. Высоко цения «Рассуждение о добровольном рабстве», Лев Николаевич сумел заинтересовать им своих

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 294.

<sup>2</sup> Там же, стр. 297.

<sup>3</sup> «Вестник Европы», 1888, № 3, стр. 13. О Г. А. Русанове (1845—1907) см. «Из переписки Льва Николаевича Толстого». «Вестник Европы», 1915, № 3.

блиэких. Так, Софья Андреевна Толстая в письме к Льву Николаевичу от 1 февраля 1884 г. пишет: «Я читаю понемногу Boetie, но все времени мало; привези Montaigne, мне и так после некоторых намеков о нем интересно было бы его прочесть, а теперь тем более, как ты его хвалишь»<sup>1</sup>.

Но, повидимому, несмотря на недостаток времени, на который жалуется Софья Андреевна, чтение Ла Боэси захватило ее, и она очень быстро прочла не только «Рассуждение о добровольном рабстве», но и обширное письмо Монтеня, посвященное описанию смерти Ла Боэси. 5 февраля, т. е. через четыре дня после первого сообщения о чтении Ла Боэси, Софья Андреевна пишет Льву Николаевичу по этому поводу следующее:

«...Кончила сегодня La Boetie и прочла с интересом его смерть. Вот так я бы хотела умереть, т. е. в таком быть духе»<sup>2</sup>.

В течение ряда лет осуществление «Круга чтения» все затягивалось и отодвигалось на задний план многочисленными другими занятиями Толстого — художественно-творческими и публицистическими. Наступили уже первые годы XX века, а «Круг чтения» все еще не был готов. Но теперь Толстой вплотную занялся им.

В письме к тому же Г. А. Русанову Лев Николаевич писал 24 сентября 1904 г., т. е. двадцать лет спустя после первого упоминания о «Круге чтения»: «...Я занят последнее время составлением „Круга Чтения“ на каждый день, составленного из лучших мыслей, лучших писателей. Читал все это время, не говоря о Марке Аврелии, Эпиктете, Ксенофонте, Сократе, о браминской, китайской, буддийской мудрости — Сенеку, Платоне, Цицерона и новых: Монтецье, Руссо, Вольтера, Лессинга, Канта, Лихтенберга, Шопенгауэра... и др. Я все больше удивляюсь и ужасаюсь тому не невежеству, а культурной дикости, в которую погружено наше общество. Ведь просвещение, образование есть то, чтобы воспользоваться, ассимилировать все то

<sup>1</sup> С. А. Толстая к Льву Николаевичу Толстому. Москва — Ленинград, 1936, стр. 251.

<sup>2</sup> Там же.— Описание смерти Ла Боэси, см. наст. изд., стр. 154 и сл.

духовное наследство, которое оставили нам предки, а мы знаем газеты, Золя, Метерлинга, Ибсена, Розанова и т. п. Как хотелось бы хоть сколько-нибудь (помочь) этому ужасному бедствию...»<sup>1</sup>

Это писалось, когда в стране происходил бурный рост революционного рабочего движения, когда рабочий класс России готовился к решительной схватке с царизмом и боевой лозунг «Долой царское самодержавие!» близок был к осуществлению. Революция в России стучалась в двери.

Лев Николаевич приступил в это время к писанию статьи о сущности государственной власти, вышедшей впоследствии под названием «Единое на потребу» и с подзаголовком «О государственной власти». В этой статье с наибольшей, пожалуй, силой нашла себе выражение та «...безбоязенная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов...»<sup>2</sup> того времени, которая, по словам В. И. Ленина, была характерна для Толстого, вопреки «...,цивилизованной» лжи нашей либеральной... публицистики<sup>3</sup>. Гневное обличение самодержавия, царского произвола, грязных империалистических, царских махинаций достигло в «Единое на потребу» высокого накала. Толстой во-всю разоблачал в этой статье преступную политику царизма, ложившуюся всей своей тяжестью на плечи народных масс, писал про царя, что это самый обыкновенный, просто глупый, может быть и не злой человек, который может подпадать под власть самых ничтожных людей, но сам по низменности своего умственного образовательного гвардейского

<sup>1</sup> «Вестник Европы», 1915, кн. 4, стр. 15.—Розанов Василий Васильевич (1856—1919)—махровый реакционер-публицист, являвшийся до самой революции 1917 г. постоянным сотрудником черносотенной газеты «Новое время». Одновременно под псевдонимом В. Варварина сотрудничал в буржуазно-либеральном «Русском слове», развивая взгляды, прямо противоположные нововременным. Это политическое двурушничество и беззастенчивый цинизм Розанова вызывали отвращение даже у либералов и заслужили ему кличуку «Иудушки Головлева».

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 296.

<sup>3</sup> Там же.

уровня никак не может сам один оказать на кого бы то ни было какого-либо влияния»<sup>1</sup>.

И что же? В качестве оружия в борьбе с самодержавием Толстой решил использовать трактат Ла Боэси. Точно так же, как это сделали в XVI веке французские гугеноты в своем «Réveille-Matin», Лев Николаевич Толстой включил в качестве составной части — третьей главы — своего памфлета значительный отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве»<sup>2</sup>.

Однако Толстой не ограничился тем, что впервые перевел на русский язык и опубликовал выборку из трактата Ла Боэси. Приведя ее, Лев Николаевич дал следующую оценку произведению Ла Боэси: «Сочинение это было написано четыре века тому назад, и несмотря на всю ту ясность, с которой было в нем показано, как безумно люди губят свою свободу и жизнь, отдаваясь добровольно рабству, люди не последовали совету Лабоэти,— только не поддерживать правительственные насилия, чтобы оно разрушилось,— и не только не последовали его совету, но скрыли от всех значение этого сочинения, и во французской литературе до последнего времени царствовало мнение, что Лабоэти не думал того, что писал, а что это было только упражнение в красноречии»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 36, стр. 651 (где дается приводимый нами первоначальный текст Толстого; смягченный вариант см. там же, стр. 168).

<sup>2</sup> Содержание этого отрывка см. наст. изд., стр. 121—125.

<sup>3</sup> В Рукописном отделении Государственного музея Л. Н. Толстого имеются следующие документы, относящиеся к переводу «Рассуждения о добровольном рабстве», сделанному Л. Н. Толстым:

1. Рукопись перевода на пяти numerованных по страницам (1—10) листах в 4°, исписанных частью рукой дочери Толстого, Марии Львовны Оболенской, частью — Ю. И. Игумновой, художницы, жившей у Толстых и помогавшей Льву Николаевичу в работе,— хранится в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого под № 19. Поправок Л. Н. Толстого на этой рукописи, представляющей собой начисто переписанный перевод из Ла Боэси к третьей главе статьи Толстого «Единое на потребу», нет. Озаглавлена она: «„Добровольное рабство“. Сочинение французского писателя Бёти середины XVI века». На первой странице, слева вверху, рукой секретаря Толстого С. Д. Николаева на-

Гениальная интуиция Толстого, его настороженное отношение к буржуазной науке, которую он так справедливо бичевал, позво-мли ему, человеку, никогда не занимавшемуся обширной литературой о Ла Боэси, с непрекаемой ясностью увидеть всю фальшь трактовки «Рассуждения о добровольном рабстве» как «упражнения в красноречии». Невольно вспоминаются сказанные с необыкновенной теплотой слова Ленина о Толстом: «Какая глыба? Какой матерый человечище!»<sup>1</sup> И замечательное определение, данное Горьким зоркости Толстого: «У Льва Николаевича была тысяча глаз в одной паре»<sup>2</sup>. Действительно, надо было обладать проницательностью Толстого, чтобы при первом же соприкосновении с трактатом Ла Боэси безошибочно распознать, как буржуазные авторы «скрыли... значение этого сочинения» и как они искажают его, заверяя, будто «Лабоэти не думал того, что писал». Негодующие слова Толстого по этому поводу не оставляли никаких сомнений в том, что он с самого же начала правильно оценил истинный смысл произведения Ла Боэси.

«Единое на потребу» было напечатано в июле или августе 1905 г. в самом крупном из заграничных издательств, в котором печатались

---

писано: «считано 5.19.05» (т. е. 19 мая 1905 года). Над заглавием его же рукой написано: «Из статьи Льва Николаевича „Единое на потребу“».

2. Часть рукописи № 18, написанной на 2 листах в 4°. Начало ее: «III. Вот что говорил про это французский писатель 16-го века Этьен Лабоэти». Далее пометка: «Выписать Лабоэти». За этим следует, рукой Толстого карандашом, абзац: «Сочинение это было написано...» и т. д., как он приводится в тексте. В этом абзаце вызывает сомнение дешифровка неразборчиво написанных двух слов, а именно: там, где в тексте говорится «правительственное насилие», можно читать «правительство нами».

Приведенный абзац представляет большой интерес, ибо в нем Толстой с исключительной проницательностью разгадал подлинный характер памфлета Ла Боэси.

3. Часть рукописи № 40, которая представляет собой уже переписанный на машинке текст извлечения из «Добровольного рабства» с небольшими редакционными поправками, сделанными рукой Л. Н. Толстого.

<sup>1</sup> А. М. Горький. Собр. соч., т. XXII, изд. 2. М.—Л., 1933, стр. 216.

<sup>2</sup> Там же, стр. 79.

запрещенные сочинения Толстого, а именно в чертковском «Свободном слове» в Англии, и появилось одновременно и в других странах. Хотя нелегальные заграничные издания и транспортировались в Россию, но, разумеется, об ознакомлении с ними широких читательских кругов нечего было и думать. Толстой собирался напечатать «Единое на потребу» в России, в издательстве «Посредник». В октябре 1905 г. он писал издателю И. И. Горбунову-Посадову: «С печатаньем „Единого на потребу“ делайте как найдете лучшим, я на все согласен и только боюсь, чтобы вам не было неприятности»<sup>1</sup>. Но вот что по этому поводу сообщает друг и единомышленник Толстого Д. П. Маковицкий (1866—1921), с декабря 1904 г. по день ухода Толстого живший в Ясной Поляне домашним врачом и подробно записывавший высказывания Толстого<sup>2</sup>. Под 1 января 1906 г. он пишет: «Лев Николаевич говорил мне, что Иван Иванович Горбунов не издает его статей „Единое на потребу“ и „Конец века“ потому, что правительство применяет теперь новую меру: закрывает типографию, в которой печатаются такие книги, которые кажутся ему опасными»<sup>3</sup>. И тем не менее в этом же, 1906 г. «Единое на потребу» было перепечатано в России в издательстве «Обновление»<sup>4</sup>, разумеется, с пропуском резких суждений Льва Николаевича о царях Александре III и Николае II. Но изданию этому все же не суждено было увидеть свет: оно было конфисковано<sup>5</sup>. Таким образом, первому переводу «Добровольного рабства» на русский язык на сей раз не повезло.

26 января 1905 г. Толстой опять перечитывал «замечательную

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 36, стр. 654.

<sup>2</sup> Эти записи Маковицкого составили «Яснополянские записи», являющиеся ценным материалом для биографии Толстого. Из этих записок напечатана только незначительная часть в виде двух выпусков, изданных в 1922—1923 гг. издательством «Задруга».

<sup>3</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 36, стр. 654.

<sup>4</sup> Л. Н. Толстой. «Единое на потребу». О государственной власти. СПб., кн-во «Обновление», 1906, № 11.

<sup>5</sup> См. «Алфавитный указатель книгам и брошюрам, а также номерам повременных изданий, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1 января 1912 года». СПб., стр. 126.

статью французского писателя шестнадцатого века Этьена Лабоэти»<sup>1</sup>. Д. П. Маковицкий записал по этому поводу: «Вчера Лев Николаевич похвалил статью La Boetie „Discours de la servitude volontaire“». «Это замечательная статья,— сказал он,— а в истории литературы сказано о Лабоэти, что он написал это ради упражнения в красноречии»<sup>2</sup>. Как видим, Толстой выражает неизменное возмущение каждый раз, когда он наталкивается на этот поклеп буржуазных ученых на Ла Боэси, и горячо спорит с ним.

Тем временем подготовка к печати давно задуманного «Круга чтения» шла полным ходом. Толстой наметил и сам перевел для него на сей раз более обширное, чем в «Едином на потребу», извлечение из «Рассуждения о добровольном рабстве». Делая свой перевод, Лев Николаевич был, повидимому, озабочен тем, как бы более точно передать мысль Ла Боэси во всем своеобразии литературной манеры XVI века, как передать по-русски построенные на античный лад длинные периоды Ла Боэси. Вот что мы читаем по этому поводу в неопубликованной части «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого под 22 сентября 1905 г.: «Михаил Сергеевич Сухотин<sup>3</sup> читал в корректуре „Круг Чтения“. Лев Николаевич попросил найти в нем перевод „Добровольного рабства“ Лабоэти, читал из него вслух и указывал, какой у него тяжелый для перевода слог, неправильный, местами непонятный язык, орфография шестнадцатого века. „Ты перевели?“ — спросила Софья Андреевна. „Да“.

Лев Николаевич,— продолжает Д. П. Маковицкий,— хочет написать для „Круга Чтения“ краткую биографию Лабоэти и указать на его значение. В Брокгаузе Лабоэти нет. Лев Николаевич надеется найти о нем в письмах Монтеня и в издании „De la servitude volontaire. Bibliothèque Nationale“»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. II, М., 1923, стр. 11.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> М. С. Сухотин (1850—1914) — зять Л. Н. Толстого, муж его дочери, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой.

<sup>4</sup> За любезно проверенный по автографу текст неопубликованной рукописи Д. П. Маковицкого приношу благодарность Н. Н. Гусеву.

И действительно, не ограничиваясь переводом, Лев Николаевич, читая корректуры «Круга чтения», снабдил отрывок из Ла Боэси биографической заметкой о нем и в конце ее недвусмысленно дал читателю понять, как он расценивает это произведение. С явным одобрением и сочувствием Лев Николаевич процитировал в заключение слова французского издателя, «что чтение таких речей есть питание тем мозгом костей львов (*moëlle de lion*), которого, к несчастью, лишены современные поколения»<sup>1</sup>.

Отсылая издателю — Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову — эти корректуры, Толстой писал<sup>2</sup>: «Вот что, дорогой Иван Иванович, посылаю Вам все, что у меня есть исправленное и готовое. Поправка перевода Лабоэти прекрасная<sup>3</sup>. Мы сделали с своей стороны<sup>4</sup>. Свдите обе. К ней я приписал маленькие сведения о личности Лабоэти<sup>5</sup>. Вообще не дурно бы в „Чтения“ выбирать из запрещенных моих, когда нужно что-нибудь заменить».

<sup>1</sup> См. наст. изд., стр. 111 (примечание).

<sup>2</sup> Это письмо Л. Н. Толстого было ответом на письмо И. И. Горбунова-Посадова от 24 сентября 1905 г. следующего содержания: «Только что получил от Страхова корректуру Июня и немедленно сдал корректорше Вашу и его корректуру для сводки. Вам же посылаю теперь лишь несколько гравюр с проектом Страховских поправок к мыслям Вашим и некоторых других мыслителей, которые прошу Вас пересмотреть. Также посылаю переданный им перевод „Добровольного рабства“, о котором он пишет, что начал поправлять, но поправок было так много, что он решил все переписать снова — посылаю и начатую им корректуру и переписанную статью...»

Федор Алексеевич Страхов (1861—1923) — единомышленник Толстого, писатель.

Автограф неопубликованного ответного письма Л. Н. Толстого И. И. Горбунову-Посадову хранится в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого, инв. 3077, Архив Г.-П.

<sup>3</sup> Л. Н. Толстой имеет в виду поправки, сделанные Страховым, о которых сообщал в своем письме Горбунов-Посадов (см. предыдущее примечание).

<sup>4</sup> Л. Н. Толстой имеет в виду поправки, сделанные им вместе с его дочерью, Марией Львовной Оболенской.

<sup>5</sup> См. наст. изд., стр. 111 (примечание).

30 января 1906 г. первый том «Круга чтения» вышел в свет<sup>1</sup>. Переведенное Толстым извлечение из «Добровольного рабства» было напечатано здесь вместе с его заметкой о Ла Боэси. Любопытно следующее обстоятельство. Толстой, как мы видели, тщательнейшим образом годами подбирал и компоновал материал для «Круга чтения». Обращает на себя внимание, что «Рассуждение» было помещено (недельным чтением между 23 и 24 июня) рядом с отрывком из «Записок из мертвого дома» Достоевского, глухо названным здесь «Орел»<sup>2</sup>. Такое размещение статей, несомненно, не было случайным, они объединены глубоким внутренним смыслом: «Орел», как и «Рассуждение о добровольном рабстве», — это подлинный гимн свободе, клич к ней.

Не следует думать, что Толстой пленился в Ла Боэси только рекомендуемым им способом низвержения самодержавия путем пассивного сопротивления. Это было бы близоруким пониманием отношения Толстого к Ла Боэси. Владимир Ильич Ленин, определяя значение деятельности Толстого, выделял в ней, как безусловно ценное, «его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви...»<sup>3</sup>. Вместе с тем В. И. Ленин в своих гениальных высказываниях о Толстом учил нас не сглаживать «кричащих противоречий» Толстого<sup>4</sup>, предостере-

<sup>1</sup> См. «Список новых изданий „Посредник“ с 1903 года». Изд. Государственного музея Л. Н. Толстого, стр. 9.

<sup>2</sup> Под этим названием напечатана была часть главы «Каторжные животные» из «Записок из мертвого дома» Ф. М. Достоевского, без упоминания названия произведения. См. Ф. М. Достоевский. Полное собр. соч., т. III, СПб., изд. Маркса, 1894; рассказ об орле занимает стр. 252—254.

Описание Достоевского, как раненый орел «яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь», — удивительно созвучно с описанием Ла Боэси, как все животные, «от мала до велика — когда их пытаются поймать, оказывают яростное сопротивление и отбиваются всеми силами: и клювом и когтями, и рогами, и ногами, показывая этим достаточно убедительно, как они дорожат тем, что теряют» (см. стр. 16 наст. изд.).

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 294.

<sup>4</sup> Там же, т. 15, стр. 180.

гал нас против того, что в разговорном языке носит название «толстовщины». «...Толстому,— писал В. И. Ленин в письме А. М. Горькому,— ни „пассивизма“, ни анархиэма, ни народничества, ни религии спускать нельзя»<sup>1</sup>. Следует всегда помнить, что как только дело доходило до того, как устранить те многочисленные общественные язвы, которые Толстой с таким огромным художественным талантом изображал, он обнаруживал полное бессилие увидеть, какие общественные силы способны это сделать. Но стремление Толстого вырвать трактат Ла Боэси из мрака забвения («скрыли от всех значение этого сочинения»), дать его в качестве духовной пищи широким читательским массам России означало прежде всего стремление ознакомить их с беспощадным обличением методов порабощения народных масс и тем самым разоблачить в их глазах самодержавие. Так же как в руках прогрессивных деятелей всех стран — Франции, Италии, Германии, Англии (как об этом было сказано выше) — трактат Ла Боэси играл роль набатного колокола, звавшего на борьбу с черными силами реакции, точно так же и в руках Толстого «Рассуждение о добровольном рабстве» должно было служить идейным оружием в борьбе с царизмом.

Одно из «кричащих противоречий» Л. Н. Толстого заключалось именно в том, что, проповедуя «непротивление злу насилием», Толстой всю свою жизнь яростно противился злу. В. И. Ленин первый с присущим ему мастерством показал, что Толстой, проповедник «непротивления», был в то же время «...горячий протестант, страстьный обличитель, великий критик...»<sup>2</sup>. Проповедуя отказ от политики, от политических действий, Толстой сам всю свою жизнь действовал: бурно протестовал «против всякого классового господства», обличал всяких «чиновников в рясах» и «жандармов во Христе»<sup>3</sup>, гремя на весь мир по поводу казни крестьян: «Не могу молчать!»

Именно в этом свете следует понимать отношение Толстого к Ла Боэси. В «Рассуждении о добровольном рабстве» его восхищали сила

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 34, стр. 384.

<sup>2</sup> Там же, т. 16, стр. 295.

<sup>3</sup> Там же, стр. 296, 297.

и искренность ненависти к самодержавию, благородная проповедь исконной свободы и равенства всех людей, обнаженное и точное описание аппарата угнетения и одурманивания народных масс, а не просто только предлагавшийся Ла Боэси рецепт избавления от произвола деспотизма. В этом можно наглядно убедиться, читая те отрывки из трактата Ла Боэси, которые Толстой счел нужным выбрать и перевести на русский язык.

В 1905 г. Толстой писал о себе своему почитателю, выдающемуся русскому художественному критику В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании добро- и самовольно принятого на себя адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всему, что существует или может существовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую»<sup>1</sup>. Однако, сочувствуя правому делу трудящихся, «сорадуясь ему», Толстой не понимал, что единственным действительным путем к освобождению трудящихся является революционная борьба русского пролетариата в союзе с крестьянством за коренное переустройство российской социально-политической действительности. Не понимая этого, Толстой проповедовал «непротивление злу насилием». Естественно, что, отказываясь выставить против реакционного насилия революционную силу, Толстой не мог видеть и полнейшей несостоятельности рекомендуемого Ла Боэси метода борьбы с самодержавием.

\* \* \*

Но, как ни стремился Лев Николаевич дать широким читательским массам возможность познакомиться с замечательными мыслями, содержащимися в трактате Ла Боэси, желание это было в условиях царской России неосуществимо. Толстовский «Круг чтения» не был книгой для массового читателя. К тому же в отношении Толстого, как известно, царским правительством был установлен особо строгий цензурный режим. Не успевали юбличительные издания Толстого выйти

<sup>1</sup> Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Из-во «Прибой», 1929, стр. 235 (Труды Пушкинского дома АН СССР).

ти в свет, как на них обрушивалась цензура. Следовали конфискации, изъятия из продажи и другие репрессии. Мы упоминали, как конфисковано было, едва увидев свет, «Единое на потребу». Была конфискована и вышедшая в том же 1906 г. брошюра Толстого «Патриотизм и правительство»<sup>1</sup>, во второй части которой напечатан был отрывок из «Добровольного рабства»<sup>2</sup>. Издатель этой и других запрещенных брошюр Л. Н. Толстого — Н. Е. Фельтен был привлечен к суду, и его судили в отдельности за каждую брошюру, вышедшую в его издательстве. Намеченный Толстым отрывок из «Добровольного рабства» для его работы «На каждый день» (1906—1910) вообще не вышел в свет, и произведение это было полностью напечатано только в 43 томе юбилейного издания Толстого<sup>3</sup>. Цензурные гонения помешали распространению книг Льва Николаевича, содержавших извлечения из «Рассуждения о добровольном рабстве».

\* \* \*

«Рассуждение о добровольном рабстве» не было для Льва Николаевича Толстого книгой, которую, раз прочитав, откладывают в сторону и к которой больше не возвращаются. Напротив, это была одна из настольных книг в доме Толстого. Мы видели уже, как Лев Николаевич приобщил к чтению ее Софью Андреевну и других своих близких. Но и сам он неоднократно возвращался к ней. В последний год своей жизни, 5 мая 1910 г., Толстой опять перечитывает Ла Боэси. Лев Николаевич гостил в это время в Кочетах у своей дочери, Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой, и, по обыкновению, с интересом просматривал содержимое книжных шкафов в доме. Секретарь Льва Николаевича В. Ф. Булгаков сообщает по этому поводу следующее:

<sup>1</sup> «Алфавитный указатель книгам и брошюрам, а также номерам повременных изданий, арест на которые утвержден судебными установлениями по 1 января 1912 года. СПб., стр. 128. Здесь указано: «I. Толстой Л. Н. Патриотизм и правительство; II. Лабоэти. О добровольном рабстве».

<sup>2</sup> Титульный лист этого издания см. стр. 123 наст. изд.

<sup>3</sup> Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 43, стр. 274. См. также в предисловии к указанному тому (стр. VII) историю цензурных злоключений этого произведения.

«...говорил, что видел вчера в шкафу сына Михаила Сергеевича Сухотина стереотипное парижское издание французских классиков: Ла Боэси, Руссо и других — и соблазнился ими, начав читать»<sup>1</sup>. Стремясь как бы украдкой приподнять краешек завесы будущего, Толстой спрашивал себя при этом: «Интересно, что будут читать мои правнуки?»

Два близких Льву Николаевичу человека записали в этот день мысли, высказанные Толстым в связи с чтением Ла Боэси. В. Ф. Булгаков отметил в своем дневнике:

„Он читал Лабоэти „Добровольное рабство“ в подлиннике<sup>2</sup>. „Писатель 16-го века, а такой анархист“,— произнес Лев Николаевич и прочел из предисловия страницы о покорении Киром Лидии, а затем мысль, которую он выписал себе в книжку о том, что история (т. е. наука истории) скрывает правду<sup>3</sup>.

„Как это верно!“ — воскликнул Лев Николаевич.

По поводу того, что относительно Ла Боэти уверяли, будто его произведение неискренне и представляет только упражнение в красноречии, Лев Николаевич заметил: „Какой вздор! Это именно был юноша, еще не одуренный наукой и не уверовавший в правительство“.

Какой убийственный ответ Сент-Беву и всем его эпигонам и последышам, защитникам версии об упражнении в красноречии! Толстой даже не подозревал, что своими простыми и вещими словами он перечеркнул полностью буржуазно-эстетское «шедевр десятиклассника» Сент-Бева<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> В. Ф. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1923, стр. 190.

<sup>2</sup> Л. Н. Толстой пользовался следующим изданием: E. de La Boetie. Discours de la servitude volontaire. Paris. Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1901 (Bibliothèque Nationale). Титульный лист этого издания см. на стр. 113 наст. изд.

<sup>3</sup> Здесь В. Ф. Булгаков допустил несколько неточностей: рассказ о покорении Киром Лидии содержится не в предисловии (Вермореля), как пишет В. Ф. Булгаков, а в самом тексте «Рассуждения о добровольном рабстве» (см. стр. 28 наст. изд.); мысль же о том, что наука истории скрывает правду, совсем иначе сформулированная, содержится в предисловии Вермореля.

<sup>4</sup> См. пронизанную претензией на утонченный психологизм статью Сент-Бева о Ла Боэси, в которой содержится указанное в тексте заявление. Causalités du lundi par C. A. Sainte-Beuve, t. IX. Paris, s. a. 140—161.

Другой близкий Льву Николаевичу человек, Д. П. Маковицкий, в тот же день записал следующее:

«...Лев Николаевич за завтраком говорил, что читал Лабоэти. Предисловие (коммунара Вермореля.—Ф. К.-Б.) „хорошее“. Он несколько изречений выписал, например, что история возвышает историю царей, а скрывает истинные подвиги народа. Потом, что при Генрихе III буржуазия подавила революцию, что она всегда делала и будет делать. И что — прибавил Лев Николаевич — и у нас было сделано»<sup>1</sup>.

Из приведенных слов Маковицкого ясно, что те изречения, которые выписал себе Л. Н. Толстой, находятся не в тексте «Рассуждения о добровольном рабстве», как можно подумать, а в предисловии Вермореля. Любопытно отметить, как внимательно и вдумчиво Л. Н. Толстой читал это предисловие. И с той орлиной зоркостью, которая была отличительной особенностью Толстого, он отметил исходные положения Вермореля, в корне отличавшиеся от буржуазных истолкований произведения Ла Боэси. Мысль, остановившая внимание Толстого и переданная Маковицким в суммарном виде: «история возвышает историю царей, а скрывает истинные подвиги народа», — у Вермореля сформулирована следующим образом: «Старания этих благородных людей (имеются в виду люди, борющиеся за освобождение своей страны.—Ф. К.-Б.) замалчивались в течение двух веков огромным заговором истории против истины, но эта яркая и героическая борьба раскрывается для тех, кто старается в этом кровавом хаосе проследить происхождение демократических принципов и кто, отбросив ненавистную завесу войн, королей и раздоров аристократии, стремится восстановить историю народа и проследить течение его упорной борьбы за прогресс и свободу»<sup>2</sup>.

Что же касается другой мысли, которую Л. Н. Толстой тоже выписал себе в записную книжку, о том, что при Генрихе III буржуазия

<sup>1</sup> Эта запись Д. П. Маковицкого содержится в неопубликованной части его «Яснополянских записок» под 5 мая 1910 г.

<sup>2</sup> «De la servitude volontaire ou le Contr'Un. Discours par Etienne de la Boétie, précédé d'une préface par A. Vermorel». Paris, 1901, стр. 9—10.

подавила революцию, то она опять-таки содержится в предисловии Вермореля. Характерно, что будущий борец за Коммуну 1871 года, Верморель, уделил в своем предисловии (написанном еще в 1863 г.) особое внимание баррикадной борьбе на улицах Парижа в мае 1588 г., фактическим инициатором которой являлась стихийно вызванная к жизни Парижская Коммуна. Это была, по словам Вермореля, организация, за которой шли народные массы, партия народа, противостоявшая как гугенотам, так и католикам и стремившаяся ликвидировать королевскую власть, установить республику и передать управление Парижем шестнадцати начальникам кварталов, избранным народным голосованием. Но устрашенная размахом движения, трусивая и корыстная буржуазия, как отмечает Верморель, предала народные массы. «Это была не первая революция, погубленная буржуазией, и не последняя», — заявляет Верморель<sup>1</sup>. Вот эту мысль Вермореля и записал себе Лев Николаевич, выразительно передав ее словами: «буржуазия подавила революцию, что она всегда делала и будет делать». И со взором, всегда устремленным к своей родной стране, Л. Н. Толстой, имея в виду революцию 1905 года, прибавил: «И что и у нас было сделано».

\* \* \*

Такова была в кратких чертах судьба трактата Ла Боэси в дореволюционной России. Если извлечениям из «Добровольного рабства» не удалось при царском самодержавии увидеть большой свет и стать достоянием широких масс, зато «Добровольному рабству» необычайно повезло в другом отношении: рьяным популяризатором и пропагандистом Ла Боэси выступил в России не кто иной, как великий писатель земли русской Лев Николаевич Толстой — человек, имя которого товарищ Сталин назвал в числе славнейших имен, олицетворяющих великую русскую нацию, имен, которыми гордится весь советский народ.

Ф. Коган-Бернштейн.

---

<sup>1</sup> «De la servitude volontaire ou le Contr'Un». Discours par Etienne de la Boétie, précédé d'une préface par A. Vermorel». Paris, 1901, стр. 11.



ОТРЫВОК ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ В ПЕРЕВОДЕ  
Л. Н. ТОЛСТОГО, ПОМЕЩЕННЫЙ В ЕГО КНИГЕ  
«КРУГ ЧТЕНИЯ», т. I<sup>1</sup>

ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО \*

Врачи советуют не заниматься неизлечимыми ранами; и я боюсь, что я поступаю глупо, желая давать советы народу, который давно потерял всякое понимание и который тем, что не замечает уже своей болезни, показывает, что болезнь его смертельна.

Прежде всего несомненно то, что если бы мы жили теми правилами и поучениями, которые дала нам природа, то мы были бы покорны своим родителям, подчинялись бы разуму и не были бы ничими рабами. О повиновении каждого своему отцу и матери свидетельствуют все люди,— каждый сам в себе и для себя. О разуме же я думаю, что он есть естественное свойство души, и если он поддерживаем светом и обычаем, то расцветает в добродетель.

Но в чем нельзя сомневаться и что вполне ясно и очевидно, это то, что природа сделала нас всех одинаковыми,— как бы вылила в

---

\* Этьен де-ла-Боэти родился в 1530 г. и 16-ти лет написал речь о добровольном рабстве, выдержка из которой здесь приводится. Де-ла-Боэти был членом суда в Бордо и близким другом Монтаня. Монтань высоко ценил его как писателя и как человека и составил описание его болезни и смерти. Де-ла-Боэти умер в 1563 году. Издатель его речи прекрасно говорит о ней, что чтение таких речей есть питание тем мозгом костей львов (*moëlle de lion*), которого, к несчастию, лишены современные поколения.

одну форму,— с тем, чтобы мы считали друг друга товарищами или, скорее, братьями, и если при дележе наших способностей она дала некоторым телесные и духовные преимущества, то она все-таки не хотела посеять вражды между ними, не хотела, чтобы более сильные и умные, как разбойники в лесу, нападали бы на слабых; но скорее, надо думать, что, наделив одних большими способностями в сравнении с другими, она дала тем самым возможность братской любви, в силу которой более сильные помогали бы тем, которые нуждаются в их помощи.

И если эта добрая мать-природа дала нам один и тот же внешний вид для того, чтобы каждый мог видеть и узнавать себя в другом; если она всем нам вообще дала великий дар слова, для того, чтобы мы, сделав обычай из взаимного обмена мыслей и общения наших воль, узнавали друг друга и сближались все более и более; если она старалась всеми средствами объединить и сплотить наше общество, связав его при помощи общения как бы в крепкий узел, и так как, наконец, это ее стремление к объединению подтверждается и природой всех вещей в мире, то нет сомнения, что мы должны быть со- товарищами, и что никто не может думать, чтобы природа одним определила быть рабами, а другим господами.

И поистине излишне разбирать, естественна ли свобода, так как никто не может находиться в рабстве, не чувствуя страдания, и нет на свете ничего столь невыносимого, как обида. Следовательно, нужно признать, что свобода естественна и что нам от рождения свойственна не только свобода, но и потребность защищать ее. Но если бы случилось, что мы усомнились бы в этом или до такой степени загрубели бы, что потеряли бы способность познания нашего блага и естественных наших стремлений, то тем самым удостоились бы чести поучиться этому самому у грубых животных. Животные, если люди окажутся не слишком глухи, будут кричать им: «да здравствует свобода!» В самом деле, многие из них умирают, лишь только их лишают свободы. Другие,— и большие и малые,— когда их ловят, отбиваются всеми силами: и клювом, и когтями, и рогами, показывая этим, как они дорожат тем, что теряют; когда же они пойманы, показывают весьма недвусмысленно, насколько они сознают свое



Титульный лист «Рассуждения о добровольном рабстве»  
в издании Парижской Национальной библиотеки  
с предисловием Вермореля, которым пользовался  
Л. Н. Толстой

несчастье, и продолжают свою жизнь больше для того, чтобы окружаться о потерянном, чем для того, чтобы довольствоваться своим рабством. Мы приучаем коня к службе чуть не с самого его рождения; но сколько бы ни ласкали его, когда дело приходит к тому, чтобы смирить его, он начнет кусать удила и рваться как бы для того, чтобы хоть этим показать, что служит он не по собственному желанию, но по нашему принуждению. Так что все существа, которые имеют чувства, сознают зло подчинения и стремятся к свободе. Животные, которые ниже человека, не могут привыкнуть покоряться иначе, как против воли. Что же за странное явление, что один только человек до такой степени изменил своей природе, что, рожденный для того, чтобы жить свободно, потерял даже воспоминание о свободе и желание возвратить ее!

Есть три рода тиранов (я говорю о злых государях): одни властвуют по выбору народа, другие — по силе оружия, третья — по наследству. Те, которые властвуют по праву войны, держат себя так, что видно, что они властвуют по праву победы. Те, которые рождены государствами, не лучше первых: будучи воспитаны в преданиях тирании, они с молоком матери всасывают природу тиранов, пользуются подчиненными им народами как унаследованными рабами, и смотря по своему расположению,— корыстолюбивы ли они или расточительны,— они распоряжаются государством, как своим наследством. Тот же, который получил свое право от народа, казалось, должен был быть более сносен; и я думаю, он был бы таким, если бы он не чувствовал себя превознесенным над другими, если бы не был окружен лестью и тем, что называют величием, с которыми он не хочет расстаться; если бы он не пользовался своей властью для того, чтобы передать ее своим детям. И странное дело, эти самые государи, властвующие по выбору народа, превосходят всех других тиранов всякого рода пороками и даже жестокостью. Помимо усиления рабства,— урезывания свободы у своих подданных, той свободы, которой и без того так мало у них осталось,— они не видят иных средств утверждения своей власти. Так что, говоря по правде, хотя я и вижу некоторое различие между указанными мною тремя родами

тиранов, однако, в сущности, они все одинаковы, и хотя достигают власти различными путями, однако способ властования у них всегда один и тот же. Что же касается завоевателей, то они считают, что на завоеванных они имеют такое же право, как на свою добычу. Наследники же их поступают с подданными, как со своими естественными рабами.

Но если бы в наше время родились люди совсем новые, не привыкшие ни к подчинению, ни к свободе,— люди, которые не знали бы ни того, ни другого, и если бы этим людям предложили одно из двух: или быть подданными, или жить свободно, что бы они выбрали? Не трудно решить, что они предпочли бы повиноваться лучше одному разуму, чем служить одному человеку. Но это только в том случае, если бы они не были похожи на тех израильтян, которые без принуждения и без всякой надобности создали себе тирана. Историю этого народа я никогда не читаю без чувства досады, которое доводит меня до того, что я делаюсь бесчеловечен и радуюсь тем бедствиям, которые израильтяне сами на себя накликали. Что же касается до всех людей, то в той мере, в которой они— люди, нужно одно из двух для того, чтобы их подчинить,— нужно или принудить, или обмануть их.

Удивительно, как народ, как скоро он подчинен, впадает тотчас же в такое забвение свободы, что ему трудно проснуться, чтобы возвратить ее. Он служит так охотно, что, глядя на него, думаешь, что он потерял не свободу свою, а свое рабство. Правда, что сначала люди бывают принуждены и побеждены силой; но следующее поколение, никогда не видавшее свободы и не знающее, что это такое, служит уже без сожаления и добровольно делает то, что его предшественники делали по принуждению. От этого люди, рожденные под игом и потому воспитанные в рабстве, принимают за естественное состояние то, в котором они родились, принимают его, не заглядывая вперед, а довольствуясь жизнью в том положении, в каком они родились, и не думая добиваться ни иных прав, ни иных благ, кроме тех, которые они находят. Ведь как бы ни был расточителен и небрежен наследник, он все же когда-нибудь да просмотрит свои акты наследства,

чтобы узнать, всеми ли своими правами он пользуется, не отняли ли чего-нибудь у него или у его предшественника. Но привычка, которая вообще имеет над нами великую власть, ни в чем не имеет над нами такой силы, как в том, чтобы научить нас быть рабами и приучить с легкостью проглатывать горький яд рабства, подобно Митридату, понемногу приучившему себя к самоотравлению...

Во всех странах и во всяком воздухе противно рабство и приятна свобода, и потому надо жалеть тех, которые родились с игом на шее. Но надо и извинять таких людей, так как они никогда не видели даже тени свободы и потому не замечают всего зла рабства. Ведь никто не сожалеет о том, чего никогда не имел, и приходит сожаление только после потерянного удовольствия.

Для человека естественно быть свободным и желать быть им, но вместе с тем его природа такова, что он привыкает ко всему.

Итак, мы скажем, что (человеку естественны все вещи, к которым он привыкает. Так что) первая причина добровольного рабства есть привычка,—та привычка, по которой самые лучшие кони сначала грызут свои удила, а потом играют ими, сначала рвутся из-под седла, а под конец как бы с гордостью гардуют в своей сбруе. Люди говорят, что они всегда были подданными, что их отцы жили таковыми,—думают, что они должны переносить неволю, заставляют себя верить в это и на основании давности оправдывают власть тех, которые их тиранят. Но среди таких покорных встречаются и благородные люди, которые, чувствуя тяжесть ига, желают свергнуть его и никогда не привыкают к подчинению. Эти люди, как Улисс, который на море и на земле желал видеть дым своего родного очага, помнят о своих естественных правах и о свободных своих предках; обладая ясным пониманием и проницательным умом, они не довольствуются, подобно грубой толпе, только тем, что у них под ногами, но имеют голову на плечах,—головы, воспитанные образованием и наукой. И эти люди, если бы свобода совсем покинула мир, если бы она на всегда была потеряна для людей, все-таки чувствовали бы в своем

духе и любили бы ее, так как рабство им всегда противно, как бы его ни наряжали.

Турецкий султан догадался об этом. Он решил, что книги и ученье более всего пробуждают в людях сознание самих себя и ненависть к тиранам. Говорят, что в его владениях есть только такие ученые, которые ему нужны. И от этого как бы ни были многочисленны люди, сохранившие в себе, несмотря ни на что, преданность свободе, они при всем их желании и рвении не имеют никакого влияния; и это потому, что при полном отсутствии свободы говорить и даже думать, они не могут знать друг друга. Итак, главная причина, по которой люди добровольно отдаются в рабство,— в том, что они рождаются и воспитываются в этом положении. От этой причины происходит и другая,— та, что под властью тиранов люди легко делаются трусливыми и женственными. Тиран никогда не думает, чтобы его власть была прочна, и потому старается, чтобы под его властью не было ни одного достойного человека.

Эта хитрость, при помощи которой тираны одуряют своих подданных, ни на чем так ясно не обнаруживается, как на том, что сделал Кир с лидийцами после того, как он завладел их главным городом Лидией\* и взял в плен Креза, этого богатого государя, и увел его с собой. Когда ему объявили, что лидийцы возмущались, он скоро вновь покорил их; но не желая разрушать такой прекрасный город и постоянно держать там армию, чтобы сохранять его за собой, он придумал другое средство: он устроил там увеселительные места, трактиры, публичные дома, зрелица и сделал предписание, чтобы все жители пользовались всем этим. И этот способ оказался столь действительным, что после этого ему уже не нужно было воевать с лидийцами. Эти несчастные люди забавлялись тем, что придумывали разные новые игры; так что римляне от них заимствовали слово, которое мы называем провождением времени: «ludi».

Тираны не признают открыто того, что они хотят развратить своих подданных, но то, что Кир откровенно применил, то в действи-

\* Здесь у Толстого явная ошибка: вместо «Лидией» следует читать «Сардами».

тельности делают все, так как свойство простого народа в городах таково, что он бывает подозрителен лишь к тем, которые его любят, и прост и податлив по отношению к тем, которые его обманывают. Не думаю, чтобы нашлась какая-либо птица, которая бы лучше ловилась на приманку, или рыба, которая лучше попадала на крючок, чем все народы попадаются в рабство из-за малейшего перышка, которым им, как говорится, помажут по губам (так что надо удивляться, как они легко поддаются, лишь только пощекочут их).

Театр, игры, представления, шутовства, гладиаторы, странные животные, картины и другие подобные глупости составляли для древних приманку рабства, цену их свободы и оружие тирании. Таковы были приемы приманок древних тиранов, употреблявшиеся ими с целью усыпления их подданных под их игом. Таким образом, одуренные этими забавами, увеселяемые пустыми зрелицами, устраиваемыми перед их глазами, народы привыкали рабствовать не хуже, чем малые дети, которые выучиваются читать лишь для того, чтобы знать содержание блестящих картинок в книжках.

Ассирийские цари, и после них мидийские, показывались народу по возможности реже, чтобы народ думал, что они представляют из себя нечто необычайно великое, и чтобы так и оставался в этом заблуждении, ибо людям свойственно преувеличивать в своем воображении то, чего они не могут видеть. Таким образом народы, находившиеся под властью ассирийского владычества, были приучены рабствовать при помощи этой тайны и тем охотнее рабствовали, чем меньше знали своего господина; а иногда и совсем не знали, есть ли он, и все по доверию боялись того, кого никто не видал. Первые цари Египта показывались не иначе, как имея иногда ветку, а иногда огонь на голове, и выходили в масках и этим возбуждали в своих подданных уважение и удивление; тогда как люди, не слишком раболепные и глупые, мне кажется, сочли бы их только забавными и смешными. Прямо жалки и ничтожны те уловки, которыми пользовались тираны древности ради утверждения своей тирании в народе, столь податливом на их обманы. Не было такой сети, в которую не попадался бы народ; и никогда тираны легче не обманывали народ, легче

не подчиняли его, как когда сами смеялись над ним. Итак, было ли такое время, когда бы тираны, ради утверждения своей власти, не приучали бы народ не только к повиновению и рабству, но и к обожжанию?

Все, что я сказал до сих пор о том, как тираны учат людей повиноваться им, касается простого и грубого народа.

Теперь же я подхожу к вопросу, который составляет секрет и главное оружие тирании. Тот, кто думает, что тираны охраняют себя оружием стражи и орудиями крепости, тот очень заблуждается: правда, они пользуются этим, но больше для формы и для страха, чем на самом деле полагаются на них. Телохранители не допускают во дворцы не тех людей, которые опасны, а лишь тех ничтожных людей, которые не могут причинить тирану никакого вреда.

Если мы подсчитаем римских императоров, то увидим, что их телохранители не столько избавляли их от опасностей, сколько убивали их. Не оружие и не вооруженные люди — конные и пешие — защищают тиранов, но, как ни трудно этому поверить, три или четыре человека поддерживают тирана и держат для него всю страну в рабстве. Всегда круг приближенных тирана состоял из пяти или шести человек; эти люди или сами вкрадывались к нему в доверие, или были приближены им, чтобы быть соучастниками его жестокостей, товарищами его удовольствий, устроителями его наслаждений и сообщниками его грабительства. Эти шестеро заставляют своего начальника быть злым не только его собственной, но еще и их злостью. Эти шестеро имеют шестьсот, находящихся под их властью и относящихся к шестерым так же, как шестеро относятся к тиранам. Шестьсот же имеют под собой шесть тысяч, которых они возвысили, которым дали управление провинциями или денежными делами,— с тем, чтобы они служили их корыстолюбию и жестокости и чтобы делали зло, которое может продолжаться только при них и только ими избавляется от законной кары. За этими следует еще большая свита. И тот, кому охота забавляться,— распутывать эту сеть, увидит, что не только шесть тысяч, но сотни тысяч, миллионы скованы этой цепью с тираном. Ради этого умножаются должности, которые все суть

поддержка тирании. И все занимающие эти должности люди имеют тут свои выгоды и этими выгодами они связаны с тиранами, и людей, которым тирания выгодна, такое множество, что их наберется почти столько же, сколько тех, которым свобода была бы радостна. И как доктора говорят, что если есть в нашем теле что-нибудь испорченное, то тотчас же к этому больному месту приливают все дурные соки, так же точно и к государю, как скоро он делается тираном, собирается все дурное,— все подонки государства, куча воров и негодяев, неспособных ни на что,— ни на хорошее, ни на плохое в республике,— но корыстолюбивых и алчных,— собираются, чтобы участвовать в добыче, чтобы быть под большим тираном маленькими тиранятами. Так делают большие грабители и знаменитые корсары. Одни делают разведки, другие останавливают путешественников; одни караулят, другие в засаде; одни убивают, другие грабят, и,— хотя между ними есть различие, ибо одни — слуги, а другие — начальники,— все они участники в добыче.

Так что тиран подчиняет одних подданных посредством других и бывает охраняем теми, которых, если бы они не были негодяи, он бы должен был опасаться. Но, как говорится, «чтобы колоть дрова, делают клинья из того же дерева», так и его телохранители таковы же, как и он. Бывает, что и они страдают от него; но эти, оставленные богом, потерянные люди готовы переносить зло, только бы им быть в состоянии делать его не тому, кто делает зло им, но тем, которые переносят его и не могут иначе.

Ла-Боэти





ОТРЫВОК ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ  
В ПЕРЕВОДЕ Л. Н. ТОЛСТОГО,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ ВМЕСТЕ С ЕГО СТАТЬЕЙ  
«ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО»<sup>1</sup>

ЛАБОЭТИ  
«О ДОБРОВОЛЬНОМ РАБСТВЕ» \*

Разумно — любить добродетели, уважать подвиги, признавать добро, откуда бы мы его ни получали, и даже лишаться своего удобства для славы и выгоды того, кого мы любим и кто того заслуживает: таким образом, если жители страны нашли такое лицо, которое показало им большую мудрость, чтобы охранять их, большую храбрость, чтобы их защищать, и великую заботу, чтобы управлять ими, и если вследствие этого они привыкли повиноваться ему так, чтобы предоставить ему некоторые выгоды, то я не думаю, что бы это было неразумно.

Но боже мой! как назовем мы то, когда видим, что большое число людей не только повинуются, но служат, не только подчиняются, но раболепствуют перед одним человеком, и раболепствуют так, что не имеют ничего своего: ни имущества, ни детей, ни даже самой жизни, которые бы они считали своими, и терпят грабежи, жестокости — не от войска, не от варваров, но от одного человека, и не от Геркулеса или Самсона, но от человека большей частью самого трусливого и женственного из всего народа.

---

\* «О добровольном рабстве» (De la Servitude volontaire, Par E. de La Boetie — Bibliothèque Nationale. Paris, 1901; p. 36, 38, 40—45).

Как назовем мы это?

Скажем ли мы, что такие люди трусы?

Если бы два, три, четыре не защищались от одного, это было бы странно, но все-таки возможно, и можно было бы сказать, что это от недостатка мужества; но если сто тысяч людей, сто, тысяча деревень и городов, миллион людей не нападают на того одного, от которого все страдают, будучи его рабами, как мы назовем это? Трусость ли это?

Во всех пороках есть известный предел: двое могут бояться одного и даже десять, но тысяча, но миллионы, но тысяча деревень, если они не защищаются против одного, то это не трусость, она не может дойти до этого; так же как и храбрость не может дойти до того, чтобы один взял крепость, напал на армию и завоевал государство. Итак, какой же это уродливый порок, не заслуживающий даже названия трусости, порок, которому нельзя найти достаточно скверного названия, который противен природе и который язык отказывается назвать...

Мы удивляемся храбрости, которую внушает свобода тем, кто ее защищает. Но то, что совершается во всех странах, со всеми людьми, всякий день, именно то, что один человек властвует над ста тысячами деревень, городов и лишает их свободы; кто бы поверил этому, если бы только слышал, а не видел это? И если бы это можно было видеть только в чужих и отдаленных землях, кто бы не подумал, что это скорее выдумано, чем справедливо? Ведь того одного человека, который угнетает всех, не нужно побеждать, не нужно от него защищаться, он всегда побежден, только бы народ не соглашался на рабство. Не нужно ничего отнимать у него, нужно только ничего не давать ему. Стране не нужно ничего делать, только бы она ничего не делала против себя, и народ будет свободен. Так, что сами народы отдают себя во власть государям; стоит им перестать рабствовать и они станут свободны. Народы сами отдают себя в рабство, перерезают себе горло. Народ, который может быть свободным, отдает сам свою свободу, сам надевает себе на шею ярмо, сам не только соглашается со своим угнетением, но ищет его. Если бы ему стоило чего-нибудь возвращение своей свободы, и он не искал бы ее, этого

*Л. Н. Толстой.*

I.

# ПАТРИОТИЗМЪ и ПРАВИТЕЛЬСТВО.

II.

ЛАБОЭТИ

## О добровольномъ рабстве (О грывокъ)

№ 4. Книгоиздательство „ОБНОВЛЕНИЕ“ 5 коп.  
1906

Титульный лист брошюры, содержавшей отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве» в переводе Л. Н. Толстого, изданный вместе со статьей Л. Н. Толстого «Патриотизм и правительство»

самого дорогое для человека и естественного права, отличающего человека от животного, то я понимаю, что он мог бы предпочесть безопасность и удобство жизни борьбе за свободу. Но если для того, чтобы получить свободу, ему нужно только пожелать ее, то неужели может быть народ в мире, который бы считал ее купленной слишком дорогой ценой, раз она может быть приобретена одним желанием? Человек, при помощи одного желания, может возвратить благо, за которое стоит отдать жизнь,—благо, утрата которого делает жизнь мучительной и смерть спасительной, может, но не желает этого. Как огонь от одной искры делается большим и все усиливается, чем больше он находит дров, и тухнет сам собой, сам себя уничтожает, теряет свою форму и перестает быть огнем, если только дров не подкладывают; так же и властители: чем больше они грабят, чем больше требуют, чем больше разоряют и уничтожают, чем больше им дают и им служат, тем они становятся сильнее и жаднее к уничтожению всего; тогда как если им ничего не дают, не слушаются их, то они без борьбы, без битвы, становятся голы и ничтожны, становятся ничем так, как дерево, не имея соков и пищи, становится сухою, мертвою веткою.

Чтобы приобрести желаемое благо, смелые люди не боятся опасности. Если трусливые и не умеют переносить страдания и приобретать благо, то желание иметь его остается при них, хотя они и не стремятся к нему, вследствие своей трусости. Это желание свойственно и мудрым и неразумным, и храбрым и трусам. Все они желают приобрести то, что может сделать их счастливыми и довольными; но я не знаю, почему люди не желают только одного: свободы; свобода — это великое благо; утрата ее влечет за собою все другие бедствия; без нее даже и те блага, которые остаются, теряют свой вкус и свою прелест. И это-то великое благо, для получения которого достаточно одного: пожелать его, люди не желают приобрести, как бы только потому, что оно слишком легко достижимо.

Бедные, несчастные люди, бессмысленные народы, упорные в своем зле, слепые к своему добру, вы позволяете отбирать от вас лучшую часть вашего дохода, грабить ваши поля, ваши дома, вы живете

так, как будто все это принадлежит не вам. И все эти бедствия и разорения происходят не от врагов, но от врага, которого вы сами себе создаете, за которого вы мужественно идете на войну, за величие которого вы не отказываетесь идти на смерть. Тот, кто властвует над вами, имеет только два глаза, две руки, одно тело и ничего не имеет, чего бы не имел ничтожнейший человек из бесчисленного количества ваших братьев; преимущество, которое он имеет перед вами,— только то право, которое вы даете ему: истреблять вас. Откуда бы взял он столько глаз, чтобы следить за вами, если бы вы не давали их ему? Где бы он достал столько рук, чтобы бить вас, если бы он не брал их у вас? Или откуда взялись бы у него ноги, которыми он попирает ваши села? Откуда они у него, если они не ваши? Откуда бы была у него власть над вами, если бы вы не давали ее ему? Как бы он мог нападать на вас, если бы вы не были заодно с ним? Что бы он мог сделать вам, если бы вы не были укрывателями того вора, который вас грабит, участниками того убийцы, который убивает вас, если бы вы не были изменниками самим себе? Вы сеете для того, чтобы он уничтожал ваши посевы, вы наполняете и убираете ваши дома для его грабежей, вы воспитываете ваших детей с тем, чтобы он вел их на свои войны, на бойню, чтобы он делал их исполнителями своих походов, своих мщений; вы надрываетесь в труде для того, чтобы он мог наслаждаться удовольствиями и гваздаться в грязных и гадких удовольствиях; вы ослабляете себя для того, чтобы сделать его сильнее и чтобы он мог держать вас в узде. И от этих ужасов, которых не перенесли бы и животные, вы можете освободиться, но только пожелать этого.

Решитесь не служить ему более и вы свободны. Я не хочу, чтобы вы бились с ним, нападали на него, но чтобы вы только перестали поддерживать его, и вы увидите, что он, как огромная статуя, из-под которой вынули основание, упадет от своей тяжести и разобьется вдребезги.





## МОНТЕНЬ О ЛА БОЭСИ<sup>1</sup>

### Опыт XXVIII О ДРУЖБЕ<sup>2</sup>

Наблюдая за поведением работавшего у меня художника, я возымел желание последовать его примеру. Он выбирал самое лучшее место в середине каждой стены и рисовал здесь картину со всем присущим ему талантом, что же касается пустого пространства вокруг картины, то он заполнял его гротесками, т. е. фантастическими зарисовками, прелесть которых — в их разнообразии и необычайности. В самом деле, что такое эти мои опыты, как не гротески и странные тела, составленные из различных членов, не имеющие ни определенной формы, ни определенного порядка, ни последовательности, ни сопротивлений — ничего, кроме того, что они случайны?

Desinit in piscem mulier formosa superne<sup>3</sup>.

Во втором пункте я следую за своим художником, но меня нехватаает на первую и лучшую часть его работы, ибо у меня недостает таланта, чтобы я решился нарисовать богатую, отделанную и законченную по правилам искусства картину. Мне пришло в голову заимствовать сюжет ее у Этьена Ла Боэси, который украсит собой всю остальную часть этой работы. Это — рассуждение, которое он назвал «Добровольное рабство», но те, кто этого не знали<sup>4</sup>, довольно удачно

перекрестили его и назвали «Contr'Un». Он написал его в виде опыта в ранней молодости<sup>5</sup> в честь свободы и против тиранов. Оно долгое время ходило по рукам среди людей просвещенных и пользовалось большой и заслуженной славой, так как оно изящно и очень богато по содержанию. Однако надо сказать, что оно далеко не лучшее из того, на что он был способен; и если бы в более зрелом возрасте, в котором я знал его, он возымел такое же намерение, как и я, изложить свои мысли на бумаге, то мы имели бы перед собой редкостное творение, весьма приближающееся к античным произведениям и не уступающее им; ибо, действительно, в этом отношении я не знал человека более одаренного, человека, который мог бы сравниться с ним. Но от него ничего больше не осталось, кроме упомянутого и то лишь случайно уцелевшего рассуждения, которого он, я думаю, никогда больше не видел с тех пор, как оно ушло из его рук, а также нескольких мемуаров о памятном январском эдикте эпохи религиозных войн,—статей, которые еще, может быть, будут когда-нибудь опубликованы<sup>6</sup> в другом месте. Это все, что мне удалось обнаружить из его наследия (мне, которому он, когда смерть стояла уже у него за плечами, с такой любовью завещал стать наследником его книг и бумаг), за исключением той книжечки его произведений, которую я уже издал<sup>7</sup>. Между тем «Рассуждению о добровольном рабстве» я особенно обязан, так как оно послужило поводом нашего первого знакомства. Действительно, оно было мне показано задолго до того, как я увидел его автора, оно познакомило меня с его именем и приблизило, таким образом, ту дружбу, которую мы питали друг к другу, пока угодно было богу, дружбу, столь совершенную и полноценную, что редко можно прочесть о подобной в книгах, а между современными людьми нельзя найти и следа ее. Для ее возникновения требуется столько случайных обстоятельств, что хорошо, если они встретятся хоть раз в три века.

Нет ничего, кажется, к чему природа сделала нас более склонными, чем к дружбе. Аристотель утверждает, что хорошие законодатели больше заботились о дружбе, чем о правосудии<sup>8</sup>. В ней заключается по его мнению высшая ступень совершенства. Ибо вообще все

те виды дружбы, которые порождаются и питаются либо наслаждением, либо личным интересом, либо публичной или частной потребностью, тем менее прекрасны и благородны, тем менее похожи на дружбу, что в этих случаях к ней примешиваются другие причины, цели и следствия, чем она сама.

И те четыре вида ее, которые знала античность, взятые все вместе или каждая в отдельности, не соответствуют подлинному характеру дружбы: ни родственные узы, ни социальные, ни узы гостеприимства, ни физической любви. Дружба детей с родителями — это скорее уважение. Дружба питается очень интимным общением, которого не может быть между детьми и родителями из-за слишком большой разницы между ними в годах; да и в некоторых случаях она должна была бы приходить в противоречие с их естественными обязанностями. Действительно, не все сокровенные мысли отцов могут быть сообщены детям, не создавая между ними неуместной вольности, равным образом всякого рода предупреждения и указания ошибок, являющиеся одной из первых обязанностей дружбы, невозможны со стороны детей по отношению к родителям. Существовали народы, у которых, по установившемуся обычаю, дети убивали своих отцов; были другие, у которых отцы убивали своих детей во избежание того, чтобы они не стали со временем помехой друг другу,— ведь, согласно законам природы, сохранение жизни одного зависит от гибели другого. Находились философы, презиравшие эти естественные узы, например Аристипп<sup>9</sup>: когда к нему пристали по поводу любви, которую он должен питать к своим детям, поскольку они вышли из него, то он принялся плеваться, говоря, что это тоже вышло из него и что мы порождаем также вшей и червей. Или взять хотя бы того, которого Плутарх хотел заставить помириться со своим братом<sup>10</sup>. «Я не придаю особого значения,— ответил он,— тому, что мы оба вышли из одного и того же места». Говоря по правде, слово «брать» — прекрасное и полное любви слово, и по этой причине мы, т. е. он и я, побратались и воздвигли на этом наш союз. Но обычно наличие у братьев общего имущества, разделы его, наконец, то, что богатство старшего брата влечет за собой бедность младшего,— все это чудо-

вищно уродует и ослабляет братские узы. Братья, стремясь к преуспеянию в своих делах одними и теми же путями и средствами, часто неизбежно приходят в столкновение друг с другом. Но, впрочем, почему то гармоническое соответствие и сродство, которые порождают подлинную и совершенную дружбу, почему должны они обязательно существовать при родственных узах? Отец и сын могут быть совершенно разного душевного склада, и точно так же братья. Это мой сын, это мой родственник, но это человек свирепый, злой или дурак. И затем, поскольку это такая дружба, которая диктуется нам законом и естественным долгом, то в ней меньше всего нашего выбора и свободы воли. А между тем ничто так не зависит от нашей свободы воли, как любовь и дружба. Я говорю это не потому, что я не испытал на себе всего того, что могут дать родственные узы, поскольку я имел наилучшего в мире отца, самого снисходительного вплоть до его предельной старости, и поскольку я происходил из прославленной в этом отношении семьи, где от отца к сыну царило образцовое согласие между братьями.

|| et ipse  
Notus in fratres animi paterni<sup>11</sup>.

Дружбу, хотя она и возникает из нашего свободного выбора. нельзя сравнивать с любовью к женщине, ни относить ее к той же категории. Пламя любви — должен признать —

Neque enim est dea nescia nostri  
Quae dulcem curis miscet amaritatem<sup>12</sup>,

более действенное, более пылкое и более жгучее. Но это пламя безрассудное и улетучивающееся, зыбкое и лихорадочное, волнообразное пламя, подверженное приливам и отливам и привязывающее нас только одним краем. Между тем как дружба — это повсеместно разлитое общее тепло, к тому же умеренное и одинаковое, тепло постоянное и устойчивое, полное нежности и мягкости, не заключающее в себе ничего жгучего и ранящего. Более того, любовь — это неистовое стремление к тому, что убегает от нас:

9 Этьен де ла Босси

Come segue la lepre il cacciatore  
 Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito;  
 Ne più, l'estima poi che presa vede,  
 Et sol dietro a chi fugge affretta il piede<sup>13</sup>.

Но как только любовь переходит в дружбу, т. е. в согласие двух воль, она чахнет и улетучивается. Наслаждение, так как оно имеет в основе только плотское вожделение и сопровождается уголением его, губит ее. Дружба же приносит тем большее наслаждение, чем она более желанна; будучи духовной, она возникает, питается и растет лишь благодаря даваемому ею наслаждению; благодаря дружбе, душа становится тоньше. Во время моей совершенной дружбы с ним эти мимолетные увлечения иногда овладевали мною, я уже не говорю о нем, который щедро признается в них в своих стихах. Таким образом, я испытал обе эти страсти, и обе они мне знакомы, но обе они оставались несознанными. Одна из них, совершая свой путь, неторопливо парила в величавом и горделивом полете, с презрением глядя на другую, следовавшую своим путем где-то далеко, далеко внизу.

Что касается брака, то, помимо того, что это сделка, в которую только вступление свободно (длительность брака не добровольна, а принудительна и зависит от обстоятельств, лежащих вне нашей воли), притом сделка эта обычно совершается для других целей, и сплошь и рядом бывает так, что обеим сторонам приходится распутывать тысячу осложнений, настолько запутанных, что они легко способны порвать нить взаимной любви и нарушить ее течение,— между тем как при дружбе нет никаких сделок и никаких других интересов, кроме самой дружбы. К тому же, говоря по правде, обычно женщины не таковы, чтобы отвечать такого рода отношениям и общению, которыми питается священный союз дружбы; кроме того, их души, повидимому, недостаточно крепки, чтобы выдерживать давление столь продолжительных и туго натянутых уз. Но, разумеется, если бы это было не так и если бы оказалось возможным осуществить такой свободный и добровольный союз, при котором полностью наслаждались бы не только души, но и тела имели бы свою долю в

этом единении, если бы оказался возможным союз, который поглощал бы человека целиком,— то, конечно, такая дружба была бы более полной и исчерпывающей. Но нет ни одного примера, доказывающего, что слабый пол оказался способным достигнуть этого, и все античные философские школы единодушно отрицают такую возможность...

Возвращаюсь к моему описанию более естественного и подходящего вида дружбы. *Omnino amicitiae, corroboratis jam confirmatisque et ingenii, et aetatisibus judicandae sunt* (Цицерон)<sup>14</sup>.

Вообще то, что мы обычно называем друзьями и дружбой,— это не более чем завязавшиеся по какому-либо случаю знакомства или сближения, при помощи которых вступают в общение наши души. Но в той дружбе, о которой я говорю, души растворяются одна в другой и смешиваются друг с другом до такого предела, что полностью стирается и не поддается различению шов, соединивший их. Если меня настоятельно просили бы сказать, почему я любил моего друга Ла Боэси, то я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, как сказав: «Потому что это был он, и потому что это был я». За всем этим моим рассуждением, как и за всем тем, что я могу сказать по этому поводу, есть некая необъяснимая и роковая сила, с помощью которой заключен был наш союз. Мы искали друг друга еще до того, как мы увидали друг друга, и именно потому, что слышали о сходстве наших характеров, которое оказывало большее действие, чем обычно, на нашу взаимную склонность; я полагаю, что это было каким-то велением неба. Мы обнимали друг друга с помощью наших имен. При нашей первой встрече, которая произошла случайно на одном торжестве, в многолюдном городском обществе, мы почувствовали такое взаимное влечение, мы ощутили себя такими давно знакомыми и тесно связанными, что с этого момента ничто не могло быть нам более близким, чем были мы друг другу. Он написал великолепную латинскую сатиру, напечатанную<sup>15</sup>, в которой он объяснял и оправдывал быстроту, с которой произошло наше взаимопонимание, так скоро дошедшее до совершенства. Этой дружбе, которой суждено было так недолго длиться и которая так поздно началась,—

ибо оба мы были уже взрослыми людьми и он был несколькими годами старше меня<sup>16</sup>, — нельзя было терять ни минуты, ей нельзя было равняться по тем образцам размеренных и вялых дружб, которым требуется столько предварительных длинных разговоров. Эта дружба не имела никакого другого образца, кроме себя самой, и была сравнима только с самой собою. Дело не в каком-нибудь одном особом обстоятельстве, или в двух, или в трех, или четырех, или тысяче: это какая-то квинтэссенция из всего сплава их, которая, завладев всей моей волею, заставила ее погрузиться и потеряться в его воле, которая, завладев всей его волею, заставила ее погрузиться и потеряться в моей, с одинаковой жаждой и одинаковым рвением. Я говорю «потеряться друг в друге», ибо она поистине не оставила ни одному из нас чего-нибудь своего, чего-нибудь, что было бы его или моим.

Когда Лелий в присутствии римских консулов<sup>17</sup>, подвергших преследованию после осуждения Тиберия Гракха всех его единомышленников, спросил ближайшего друга Гракха, Кая Блосия, что он хотел бы сделать для него, то тот ответил: «Все возможное». «Как все возможное? А что если бы он приказал тебе поджечь все наши храмы?» «Этого он никогда не приказал бы мне», — возразил Блосий. «Но если бы он все-таки сделал это?» — настаивал Лелий. «Я повиновался бы ему», — ответил Блосий. Если он был таким совершенным другом Гракха, как утверждают историки, то ему не было нужды оскорблять слух консулов этим последним смелым признанием, ему следовало настаивать на своей уверенности в воле и намерениях Гракха. Но во всяком случае те, кто осуждают этот ответ, называя его мятежным, недостаточно понимают тайну дружбы и не представляют себе того, что было в действительности, а именно, что он держал волю Гракха как бы у себя в кармане, зная ее и будучи в состоянии ее направить. Они были больше друзьями, чем согражданами, больше друзьями, чем патриотами или врагами своей родины или честолюбивыми мятежниками. Полностью отдавшись друг другу, они пре-восходно держали вожжи своей взаимной склонности, и если вы представите себе эту упряжку направляемой разумом и добродетелью

(ибо без этого ее совершенно невозможно было бы запрячь), то вы поймете, что ответ Блосия таков, каким он должен был быть. Если бы их поступки расходились, то, по моему определению, они не были бы ни друзьями друг для друга, ни друзьями для самих себя. Вообще этот ответ звучит совершенно так же, как звучал бы мой, если бы на чей-нибудь поставленный мне следующим образом вопрос: «Если бы Ваша воля приказала Вам убить Вашу dochь, убили ли бы Вы ее?» — я ответил утвердительно. Ведь не требуется никаких доказательств моего согласия сделать это, так как у меня нет никаких сомнений в моей воле и совершенно так же я не сомневаюсь в воле такого рода друга. Никакие аргументы на свете не способны поколебать мою уверенность в действиях и суждениях моего друга. Мне нельзя сообщить ни об одном его действии, какое бы обличье оно ни принимало, побудительной причины которого я тотчас же не нашел бы. Наши души жили так нераздельно вместе, они смотрели друг на друга с такой пламенной любовью и с одинаковой любовью открывали себя друг другу до самых конечных глубин, так что я не только знал его душу так же, как свою собственную, но я, несомненно, поверил бы ему во всем, касающемуся меня, больше чем самому себе.

Я не могу позволить ставить в один ряд нашу дружбу с другими обычными дружбами, я знаю их, и в том числе самые совершенные, не хуже всякого иного, но я не советую мерить их одной меркой, ибо это значило бы ошибиться. При оценке этих других дружб следует действовать с большой осторожностью и предусмотрительностью, ибо узы их связаны не так неразрывно, чтобы нельзя было допустить никаких сомнений. «Люби своего друга так,— говорил Хилон,— как если бы тебе предстояло его когда-нибудь возненавидеть, и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его»<sup>18</sup>. Это наставление, которое звучит отвратительно, когда дело идет о такой несравненной и возвышенной дружбе, как наша, вполне уместно, когда речь идет о заурядных и обычных дружбах, по отношению к которым применимо излюбленное изречение Аристотеля<sup>19</sup>: «О друзья мои, нет больше ни одного друга!».

В этом благородном общении, которое существовало между нами, благодеяния и услуги, эти источники некоторых других дружб, не заслуживают даже того, чтобы ставить их в счет, ибо основой его было полное слияние наших воль. Совершенно подобно тому, как любовь, которую яитаю к самому себе, не усиливается от той помощи, которую я оказываю себе в случае надобности,— что бы ни говорили по этому поводу стоики,— и подобно тому, как я не благодарю себя за оказанную себе же услугу,— точно так же и такой союз друзей, как наш, будучи подлинно совершенным, приводит к утрате обоими друзьями подобного чувства долга и к изгнанию из обихода их взаимоотношений слов, означающих разделение и различие, как-то: благодеяние, обязанность, признательность, просьба, благодарность и т. п. Ввиду того, что у них действительно все общее: их воли, мысли, суждения, имущества, жены, дети, честь и жизнь, а их гармония есть не что иное, как, по весьма меткому определению Аристотеля<sup>20</sup>, одна душа в двух телах,— то они не могут ни одолживать, ни давать друг другу что-либо. Вот почему законодатели, с целью возвысить брак некоторым воображаемым приравниванием его к божественному союзу дружбы, запрещают дары между мужем и женой, желая этим внушить супругам, что все у них должно быть общее и что им нечего делить и распределять между собой.

Если бы в той дружбе, о которой я здесь говорю, один из друзей мог что-либо подарить другому, то принявший благодеяние весьма обязал бы этим своего сотоварища, ибо тот и другой больше всего на свете стремятся сделать друг другу благо, и тот, кто предоставляет такую возможность, играет роль дающего, так как он дает своему другу удовлетворение от сознания, что он в состоянии был осуществить то, чего больше всего желал. Когда философ Диоген нуждался в деньгах<sup>21</sup>, то говорил обычно, что он востребует их у своих друзей, а не что он попросит их у них. И для того, чтобы показать, как это на деле практиковалось, я приведу один исключительный пример из древности.

Евдамид, коринфянин, имел двух друзей<sup>22</sup>: Харинея из Сиции и Аретея из Коринфа. Готовясь умереть и будучи сам беден — а оба

его друга были богаты — он составил следующее завещание: «Завещаю Аретею кормить мою мать и поддерживать ее в старости; Харинею завещаю выдать замуж мою dochь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет, а в случае, если один из них умрет раньше другого, то я заменяю его тем, кто останется в живых».

Те, кто первые увидали это завещание, стали смеяться над ним, но когда душеприказчики Евдамида узнали об этом, то они приняли его завещание с особым удовлетворением. И когда один из них, Хариней, через пять дней умер, то заменивший его Аретей стал заботливейшим образом кормить мать Евдамида, а из пяти талантов, составлявших его состояние, он отдал  $2\frac{1}{2}$  в приданое своей единственной дочери и  $2\frac{1}{2}$  в приданое дочери Евдамида и отпраздновал обе свадьбы в один и тот же день.

Этот пример весьма показателен, за исключением одного обстоятельства, а именно: наличия нескольких друзей. Ибо та совершенная дружба, которую я имею в виду, не поддается делению: каждый из двух настолько полно отдается своему другу, что у него не остается ничего, что бы он мог отдать кому-нибудь еще; напротив, он глубоко сожалеет, что он не двойной, тройной или четверной и что у него нет нескольких душ и нескольких воль, которые он все мог бы отдать своему другу. Обычные дружбы — их можно делить: в одной можно любить красоту, в другой легкость нрава, в третьей щедрость; в этом нежность отца, в том брата, и так далее, но ту дружбу, которая завладевает всей нашей душой и правит ею без ограничений,— ее невозможно делить надвое. Если бы двое твоих друзей одновременно просили твоей помощи, к которому из них ты побежкал бы? Если бы они требовали от тебя прямо противоположных услуг, как бы ты поступил? Если бы один из них доверил тебе тайну, которую полезно было бы знать другому, как бы ты вышел из положения?

Единственная и исключительная дружба не допускает для души никаких других обязательств. Тайну, которую я поклялся не сообщать никому другому, я могу без всякого клятвопреступления рассказать тому, кто не является другим; это — я сам. Немалое чудо — удваивать себя, и те не знают величия его, кто болтает о том, чтобы

утраивать себя. Нет ничего из ряда вон выходящего, что имело бы себе подобное. Тот, кто предположил бы, что я могу одинаково крепко любить двоих, и что эти двое могут любить друг друга и меня так же крепко, как и я их, тот, кто предположил бы это, говорю я, разделил бы на целое братство вещь наиболее неделимую и единую, и притом такую, которая в исключительно редких случаях встречается на свете.

Последствия рассказанной мною истории как нельзя лучше согласуются с тем, что я сказал: действительно, Евдамил считал благом и милостью для своих друзей то, что он прибегнул к ним в своей нужде. Он оставил их душеприказчиками той своей щедрости, которая состояла в том, что он дал им в руки способ сделать для него благо. И, разумеется, сила дружбы в его поступке проявляется полнее, чем в поступке Аретея. Словом, это наслаждение, неизведанные для тех, кто не вкусили их; и потому я высоко ценю ответ того молодого воина, который на вопрос Кира<sup>23</sup>, за сколько он готов продать коня, который только что взял приз в беговых состязаниях, и не обменяет ли он его на царство, ответил: «Конечно, нет, государь, но я охотно отдал бы его, чтобы приобрести взамен друга, если бы только я нашел человека, достойного такого союза».

Он недурно выразился, сказав «если бы я нашел», ибо легко найти людей, годных для поверхностного знакомства. Однако для такого рода дружбы, как подразумеваемая мною, при которой мы обмениваемся всем без исключения, до самых глубин души, разумеется, необходимо, чтобы все побудительные стимулы были до конца чисты и надежны.

При связях, имеющих лишь одно целевое назначение, следует предусмотреть, чтобы не было изъяннов в том, что касается преследуемой цели. Мало может меня интересовать, какой религии придерживается мой врач или мой адвокат. Это обстоятельство не имеет никакого отношения к тем дружеским услугам, которые они мне оказывают. В домашнем обиходе, в отношениях, возникающих между мной и обслуживающими меня людьми, я поступаю таким же образом. Нанимая лакея, я не спрашиваюсь о чистоте его нравов, а только о том, знает ли он свое дело и исправен ли он. Я не так

боюсь конюха-игрока, как конюха-дурaka, и не так опасаюсь повара-ругателя, как повара — невежду в своем деле. Не мое дело указывать, как следует поступать на свете,— для этого есть уйма других, которым до этого дела,— я же говорю только о том, как я поступаю.

*Mihi sic usus est, tibi, ut opus est facto, face<sup>24</sup>.*

За столом я предпoчитаю занимательного собеседника мудрому, для серьезного рассуждения — самостоятельность мысли, т. е. отсутствие педантизма, и точно так же во всем остальном.

Совершенно так же, как тот, кто, будучи застигнут во время игры со своими детьми верхом на деревяшке<sup>25</sup>, попросил у заставшего его в таком положении человека воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом, исходя из того, что любовь, которая тогда пробудится в его сердце, сделает его справедливым судьей подобного поступка; точно так же я желал бы говорить с людьми, которые испытали то, о чем я рассказываю. Но зная, что такого рода дружба есть вещь, совершенно необычная и очень редко встречающаяся, я не льщу себя надеждой найти компетентного судью в этом деле. Ибо даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне плоскими по сравнению с тем, что я чувствую. И в этом пункте действительность превосходит все философские наставления:

*Nil ego contulerim jucundo samus amico<sup>26</sup>.*

Древний поэт Менандр говорил, что счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень друга. Он имел все основания говорить так, в особенности если он исходил при этом из опыта. Действительно, по правде говоря, если я сравниваю весь остаток моей жизни, которая божьей милостью была у меня привольной, благоустроенной и, за исключением потери такого друга, не омраченной никаким другим гнетущим горем; я провел ее в полной ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, и не ища большего, и вот, если я сравниваю ее, повторяю, всю ее с теми четырьмя годами, когда мне дано было наслаждаться сладостной дружбой и общением с этим человеком,

то все это только дым, только темная и безрадостная ночь. С того дня как я потерял его.

quem semper acerbum  
Semper honoratum (sic, Dii, voluistis) habebo<sup>27</sup>,

я влачу томительное существование, и самые радости, которые встречаются на моем пути, вместо того чтобы утешить меня, удваивают мою горечь от утраты его. У нас все было пополам с ним, и мне кажется, что я краду у него его долю.

Nec fas esse ulla me voluptate hic frui  
Decrevi tantisper dum ille abest meus particeps<sup>28</sup>.

Я до такой степени привык быть всегда и везде его вторым «я», что мне кажется, будто я не более чем половина человека.

Illam meae si partem animae tulit  
Maturior vis, quid moror altera?  
Nec carus aeque, nec superstes  
Integer. Ille dies utramque  
Duxit ruinam<sup>29</sup>.

При всякой мысли, при всяком действии мне недостает его, как это было бы и с ним, если бы он пережил меня. Ибо, подобно тому как он бесконечно превосходил меня во всех познаниях и добродетелях, точно так же он был неизмеримо выше меня и в долгे дружбы.

Quis desiderio sit pudor aut modus  
Tam cari capitisi<sup>30</sup>

O misero frater adempte mihi!  
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,  
Quae tuus in vita dulcis alebat amor.  
Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater;  
Tecum una tota est nostra sepulta anima,  
Cujus ego interitu tota de mente fugavi  
Haec studia, atque omnes delicias animi.

. . . . .  
Alloquar? Audiero nunquam tua verba loquentem?  
Nunquam ego te, vita frater amabilior,  
Adspiciam posthac? At certe semper amabo<sup>31</sup>.

Но послушаем этого юношу 16 лет<sup>32</sup>.

Так как я увидел, что это произведение было тем временем опубликовано, и с дурным умыслом<sup>33</sup>, людьми, старающимися внести смуту и изменить наш государственный строй, не задумываясь, исправят ли они его этим; и так как они смешали его с другими писаниями в их вкусе, то я отказался от мысли поместить его здесь. А для того, чтобы память автора не пострадала в глазах лиц, не знавших как следует его взглядов и его поступков, то я предупреждаю их, что эта тема трактовалась им в ранней юности в целях литературного упражнения, как ходячий, избитый сюжет, без конца разбирающийся в тысяче всевозможных сочинений. Я нисколько не сомневаюсь, что он верил в то, что писал, так как он был достаточно совестлив, чтобы не лгать даже в шутке. И знаю я, кроме того, что если бы перед ним был выбор, то он предпочел бы родиться в Венеции, а не в Сарла<sup>34</sup>, и с полным основанием. Но у него было верховно запечатлено в его душе другое правило — благородейшим образом повиноваться и подчиняться законам страны, в которой он родился. Не было никогда лучшего гражданина, гражданина, более озабоченного спокойствием своей страны и более враждебно относившегося к беспорядкам и новшествам своего времени. Он скорее отдал бы все свои силы, чтобы потушить пламя, чем для того, чтобы еще более разжечь его. Его дух был скроен по образцу иных веков, чем наш.

Поэтому вместо этого серьезного произведения я помещу здесь другое<sup>35</sup>, относящееся к той же поре его юности, только более веселое и жизнерадостное.

#### ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ<sup>1</sup>

Читатель, всем тем, что ты получаешь в твое распоряжение из литературного наследия покойного господина Этьена Ла Боэси, ты обязан мне: ибо ставлю тебя в известность, что сам он ничего из того, что ты имеешь перед собой, никогда не предназначал для твоих глаз, так как он не считал это творчество достойным предавать гласности. Но ввиду того, что я, который не так непомерно строг, не

LA  
MESNAGERIE  
DE XENOPHON.

Les Regles de mariage,  
DE PLUTARQUE.

Lettre de consolation,  
de Plutarque à sa femme.

Le tout traduit de Grèc en François par feu  
M. ESTIENNE DE LA BOETIE  
Conseiller du Roi en la court de Parlement  
à Bordeaux. Ensemble quelques Vers Latins  
& François, de son inuention.

Item, un Discours sur la mort dudit Seigneur  
De la Boetie, par M. de Montaigne.

A PARIS.

De l'Imprimerie de Federic Morel, rue  
S. Iean de Beauuais, au Franc Meurier.

M. D. LXXI.

AVEC PRIVILEGE.

нашел в его завещанной мне библиотеке ничего другого, то я не хотел допустить, чтобы и это потерялось. К тому же, по скромному моему разумению,— я надеюсь, что ты согласишься со мной в этом,— самые выдающиеся люди нашего времени часто выступают с менее значительными вещами, чем нижеследующие.

От людей, с которыми он общался в более молодом возрасте,— ибо наше с ним знакомство началось лет за шесть до его смерти,— я узнал, что он написал еще много других латинских и французских стихотворений — некоторые под псевдонимом Жиронда, и мне довелось слышать обширные отрывки из них. Даже автор «Древностей Буржа»<sup>2</sup> приводит его стихи, о которых я знаю, но мне неизвестно, что со всем этим сталося, равно как и с его греческими стихами. И это неудивительно, ибо как только его осеняла какая-нибудь мысль, он набрасывал ее на первом попавшемся ему под руку листке бумаги, нисколько не помышляя о его сохранности. Заверяю тебя, читатель, что я сделал все, что мог, и что за семь лет, прошедших со времени его смерти, я мог обнаружить только то, что ты здесь видишь, за исключением «Рассуждения о добровольном рабстве» и нескольких «Мемуаров, касающихся волнений в связи с январским эдиктом 1562 года»<sup>3</sup>. Но что касается этих двух только что названных произведений, то я нахожу их построение слишком деликатным и хрупким, чтобы подвергать их действию резкого и буйного ветра теперешней непогоды<sup>4</sup>.

Париж, 10 августа 1570 г.

### ПИСЬМО ГОСПОДИНУ ДЕ ЛАНЗАК<sup>1</sup>

*кавалеру королевского ордена, советнику тайного совета короля,  
обер-интенданту его финансов и командиру ста дворян его двора*

Сударь, посылаю Вам «О домоводстве» («Oeconomicus») Ксенофonta, переведенное на французский язык покойным господином де Ла Боэси. Подарок этот, как мне казалось, подойдет Вам как потому, что в первоначальном своем виде он, как Вы знаете, принадлежит перу человека знатного происхождения, который был выдающимся полководцем и велик был и в мирное время, так и потому, что эту

вторичную свою форму<sup>2</sup> он получил благодаря лицу, которое Вы — я знаю — любили и уважали в течение всей его жизни.

Это послужит Вам стимулом сохранить к его имени и к его памяти Ваше хорошее отношение и Вашу благосклонность. И смелее говоря, не бойтесь, сударь, даже несколько усилить их: ибо если Вы могли ценить его только на основании его общественных оказательств, то я должен Вам сказать, что его ценность значительно превосходила эти пределы, так что Вы очень далеки от знания его в целом.

Он оказал мне при жизни своей честь, которую я отношу к величайшим моим удачам, завязать со мной столь тесную связь и столь высокую дружбу, что не было в его душе такой складки, такого движения, такого импульса, которых я не должен был знать и судить о них, разве только если иногда мое зрение оказывалось недостаточно острым. Действительно, говоря без преувеличений, надо признать, что он был, беря все в целом, настолько близок к чуду, что, выходя, когда речь идет о нем, за пределы правдоподобия, я вынужден во имя того, чтобы не усомнились во всем, что я о нем сообщаю, ограничивать себя и быть ниже того, что я знаю об этом. И я ограничусь на сей раз, сударь, только тем, чтобы просить Вас во имя почтения и уважения к истине поверить и засвидетельствовать, что наша провинция Гиень не имела среди людей его сословия никого ему равного.

Итак, в надежде, что Вы воздадите ему то, что ему по всей справедливости надлежит, а также чтобы освежить Вашу память о нем, я посылаю Вам эту книгу, которая заодно сообщит Вам относительно меня, что если бы не прямой запрет, к которому меня обязывает моя неспособность, я послал бы Вам столь же охотно кое-что свое, как признательность за все, чем я Вам обязан, и в благодарность за давнюю вашу любовь и дружбу по отношению к членам моей семьи. Но, сударь, за неимением лучшей монеты, предлагаю Вам принять в расчет мою непреклонную волю с величайшей готовностью сослужить Вам любую службу.

Молю, сударь, да хранит Вас бог!

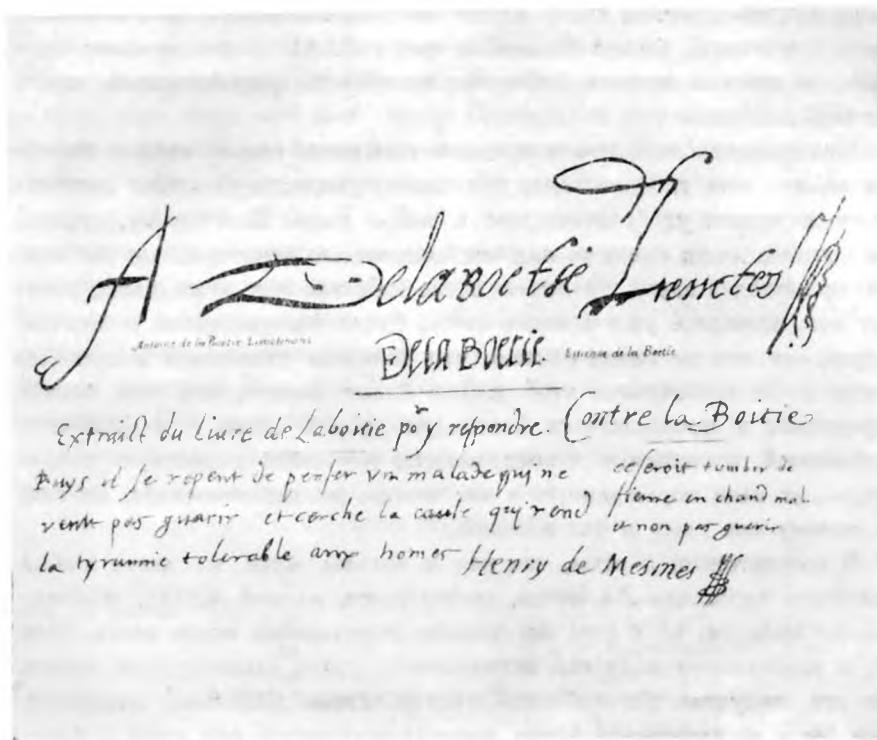
Ваш покорный слуга

*Мишель де Монте́нь.*

ПИСЬМО ГОСПОДИНУ ДЕ МЕМ<sup>1</sup>

сеньеру де Руасси и де Малясиэ, советнику короля в его тайном совете

Сударь, одно из величайших человеческих безумств состоит в том, чтобы тратить все силы своего ума на разрушение и ниспровержение



Сверху: автографы Этьена Ла Боэси и его отца Антуана Ла Боэси;  
внизу — факсимиле «Извлечение Аири де Мема из книги Ла Боэси  
для ответа на нее»

ходящих общепринятых представлений, приносящих нам удовлетворение и довольство. В самом деле, в то время как все сущее под небом употребляет средства и орудия, вложенные природой ему в руки (как

она действительно обычно и делает) для украшения и благоустройства своего существования, люди ради того, чтобы казаться более смелого и независимого нрава, который ничего не принимает, не примерив и не взвесив предварительно тысячу раз на чувствительнейших весах разума, разрушают мирное и спокойное состояние своих душ лишь для того, чтобы после долгих исканий наполнить их в конечном счете сомнением, беспокойством и тревогой. Не без основания простота и детская ясность были так настойчиво рекомендованы самой истиной.

Что касается меня, то я предпочитаю жить скорее так, чтобы это доставляло мне удовольствие, чем жить умело; в большем соответствии с моими удобствами, чем с моим умом. Вот почему, сударь, хотя умные люди смеются над озабоченностью некоторых из нас тем, что произойдет здесь, на земле, после нас, так как душа наша, говорят они, находясь уже в ином месте, будет бесчувственна к земным вещам,— я тем не менее считаю, что большим утешением в преходящести и быстротечности этой жизни будет верить, что она может укрепиться и продолжаться благодаря добре славе и известности. С большой готовностью я воспринимаю эту столь радостную и приятную, от века порожденную в нас мысль, не любопытствуя, ни как, ни почему она была в нас вложена.

В соответствии с этим, так как я больше всего на свете любил покойного господина Ла Боэси, величайшего, на мой взгляд, человека нашего времени, то я счел бы тяжким нарушением моего долга, если бы я сознательно допустил исчезновение столь выдающегося имени, как его, допустил бы забвение памяти, столь достойной внимания, если бы я не попытался путем издания воскресить эти вещи и вдохнуть в них жизнь.

Мне кажется, что он это каким-то образом чувствует и что эти мои услуги трогают и радуют его; ведь, право же, я так живо и полно ощаща его в себе, что я не могу представить его себе ни прочно похороненным, ни совсем недоступным для соприкосновения с нами.

Так как, сударь, всякое новое сведение, которое я сообщаю о нем, является удлинением его посмертной жизни и так как, кроме того,

его имя еще более выигрывает в благородстве и почете в зависимости от того места, где его принимают, то мне надлежит не только распространять по возможности шире его произведения, но и отдавать их на сохранение почтенным и добродетельным людям, среди которых Вы занимаете такой высокий ранг. Поэтому я решил преподнести Вам эту небольшую его работу, чтобы дать Вам возможность принять этого нового гостя и оказать ему любезный прием. Я решил сделать это не ради той пользы, которую Вы сможете извлечь из нее, ибо я прекрасно знаю, что для чтения Плутарха и ему подобных Вам не нужны переводы; но, возможно, что госпожа де Руасси, увидев здесь воочию очень живо изображенными правила своего собственного брака и доброго согласия с Вами, с огромным удовлетворением почувствует, что ее прекрасные естественные склонности не только достигли того, чему учили самые мудрые философы относительно обязанностей и правил брака, но даже превзошли их требования. И во всяком случае для меня всегда лестно быть в состоянии сделать что-нибудь приятное Вам или Вашим близким во имя моей обязанности оказывать Вам всяческие услуги.

Молю бога, сударь, да ниспошлет он Вам долгую и счастливую жизнь.

Ваш преданный слуга

*Мишель де Монтень.*

Замок Монтень,  
сего 30 апреля 1570 г.

### ПИСЬМО ГОСПОДИНУ ЛОПИТАЛЮ<sup>1</sup>

*канцлеру Франции*

Монсеньер, мне кажется, что Вы и те из вас, которым судьба и разум вручили управление государственными делами, ничего так усердно не ищете, как способ распознавать людей, назначаемых на подобные посты: ибо вряд ли есть хоть какая-нибудь самая захудалая община, в которой не нашлось бы достаточно людей, подходящих для исправного выполнения любой общественной должности,

лишь бы только правильно производились их подбор и расстановка; и если бы это было достигнуто, то вопрос о совершенном составе государственного аппарата был бы решен. Но чем более это желательно, тем труднее это достижимо, принимая во внимание, что ни глаза ваши не могут видеть так далеко, чтобы суметь отобрать и выбрать среди такого большого и рассеянного множества людей, ни что они не могут проникнуть в глубины людских сердец и узнать их намерения и волю, т. е. то главное, что должно быть учтено. Поэтому не было ни одного столь благоустроенного государственного ведомства, в котором мы часто не замечали бы ошибок в подборе и распределении людей, а если в тех учреждениях, где управляют невежество, злоба, ложь, милости, интриги и насилие, можно найти какой-нибудь достойный и правильно сделанный выбор, то мы обязаны этим фортуне, которая при непостоянстве своих многообразных поворотов на сей раз встретилась случайно с движением разума.

Сударь, это соображение часто утешало меня, когда я думал, что господин Этьен де Ла Боэси, один из наиболее подходящих и незаменимых людей на высшие посты Франции, в течение всей своей жизни коснел в забвении и оставался привязанным к родному пепелищу, к великому ущербу для нашего общего блага, ибо, что касается его самого, то я сообщаю Вам, сударь, что он был так щедро украшен добродетелями и сокровищами, даруемыми судьбой, что не было никогда человека более удовлетворенного, ни более довольного.

Я прекрасно знаю, что он был возведен в своей округе на посты, которые считались высокими; и знаю, сверх того, что никогда ни один человек не обнаруживал при этом больших талантов и что в возрасте тридцати двух лет, до которых он дожил, он приобрел такую славу на своем посту, как ни один другой до него; но тем не менее не следует оставлять в солдатах того, кто достоин быть командром, ни оставлять на средних должностях тех, кто хорошоправлялся бы с высшими. Его силами действительно плохо распорядились, их слишком пощадили; так что по исполнении своих обязанностей у него оставалось много свободного и неиспользованного времени, от применения которого государство выиграло бы, а он прославился.

Но так как, сударь, он был так ленив в том, чтобы самому проталкивать себя и выходить из тени на свет, ибо, к несчастью, добродетель и честолюбие не уживаются друг с другом, и так как он принадлежал к столь грубому и насыщенному завистью веку, что ему не оказали никакой помощи другие люди, то я горю желанием, чтобы, по крайней мере после его смерти, его память, которой единственno я обязан узами нашей дружбы, получила достойную ее награду и чтобы она стяжала уважение почтенных и украшенных добродетелями людей.

По этой причине я возымел желание выпустить в свет и преподнести Вам эти немногие латинские стихотворения, которые остались у нас от него. В полную противоположность строителю, который обращает самую лучшую часть своего здания лицом к улице, и в отличие от купца, выставляющего напоказ и в виде украшения самые роскошные образцы своих товаров, как раз всё, что было лучшего в нем — подлинный мозг и соки его таланта, ушло вместе с ним, нам же остались только шелуха и листья. Тот, кто сумел бы показать спокойную уравновешенность его души, его благочестие, его добродетель, его справедливость, живость его ума, здравость и вескость его суждений, его возвышенные взгляды, так далеко отстоящие от ходячих воззрений, его ученость, его благостность и благородство, этих обычных спутников его действий, нежную любовь, которую он питал к своей несчастной отчизне, и его ярую и заклятую ненависть ко всякому пороку, и в особенности к той гнусной сделке, которая прикрывается почтенным именем правосудия,— тот, несомненно, вызвал бы у всех порядочных людей особую любовь к нему, смешанную с горьким сожалением об его утрате. Но, сударь, недостает очень многое, чтобы я мог это сделать, ибо он никогда не задумывался над тем, чтобы оставить потомству хоть какие-нибудь свидетельства плодов своих занятий, и нам остались лишь те обрывки, которые он некогда писал для времяпрепровождения.

Но как бы то ни было, прошу Вас, сударь, примите это благосклонно, и так как наш разум нередко на основании незначительной вещи делает выводы о важных вещах и так как проницательный глаз

даже по забавам выдающихся людей распознает благородный отпечаток их происхождения, то попытайтесь с помощью этой работы добраться до познания его самого, чтобы таким путем полюбить и сократить в себе его имя и его память.

Делая это, государь, Вы лишь оправдываете то незыблемо высокое представление, которое он имел о Вашей добродетели, и исполните то, чего он бесконечно желал в течение своей жизни: ибо не было человека на свете, знакомства и дружбы с которым он больше бы желал, чем с Вами. Но если бы кто-нибудь возмутился тем, что я так решительно говорю за него, то я сообщил бы ему, что не было никогда более точно сказано и написано философами всех направлений о правах и обязанностях священной дружбы, чем то, что практически существовало между мной и им.

Наконец, сударь, этот скромный подарок, чтобы зараз, как говорится, убить двух зайцев, послужит также тому, чтобы засвидетельствовать мое почтение и уважение к Вашим талантам и тем исключительным качествам, которыми Вы обладаете, ибо, что касается вычурных и случайных качеств, то не в моем вкусе вменять их в заслугу.

Молю бога, сударь, да ниспошлет он Вам долгую и счастливую жизнь.

Ваш преданный и покорный слуга

*Мишель де Монте́нь.*

Замок Монте́нь,  
сего 30 апреля 1570 г.

### ПИСЬМО ГОСПОДИНУ ДЕ ФУА<sup>1</sup>

*советнику короля в его тайном совете и послу его величества  
в Венецианской синьории*

Сударь, когда я захотел просить Вашей благосклонности и благосклонности потомства к памяти покойного Этьена Ла Боэси, как ввиду его исключительной ценности, так и ввиду его необыкновенной

любви ко мне, то мне пришло в голову, что красть у добродетели ее верную спутницу — славу, как это обычно делается, с тем, чтобы возлагать ее без всякого выбора и суждения на первого попавшегося, в зависимости от наших частных интересов, есть величайшая несправедливость, имеющая важнейшие последствия, а потому достойная наказания по нашим законам.

Примем во внимание, что две главные владычицы, которые направляют нас и заставляют нас соблюдать наши обязанности,— это ожидающие нас награды или наказания, которые подлинно затрагивают нас, как людей, только благодаря связанным с ними стыду или чести. Дело в том, что последние непосредственно отзываются в нашей душе и ощущаются лишь благодаря нашим внутренним, чисто человеческим чувствам, между тем как к животным неприменимы никакие другие награды и наказания, кроме телесных.

Кроме того, нетрудно видеть, что обычай хвалить добродетель, даже когда дело идет о тех, кого больше нет с нами, имеет в виду не их лично, но поощрение таким способом оставшихся в живых к подражанию, подобно тому, как самые тяжелые наказания применяются правосудием скорее в качестве примера, чем для исправления тех, кто несет их. Ввиду того, что прославление и порицание столь сходны между собой по преследуемым ими целям, трудно привести в соответствие с этими целями наши законы и избежать того, что они запрещают задевать чью бы то ни было репутацию, но в то же время позволяют возвеличивать ее до небес без оснований. Этот пагубный произвол — бросать по нашему усмотрению на ветер похвалы всякому, кому нам заблагорассудится, некогда различным образом ограничивался в некоторых странах и иногда приводил в прежние времена к тому, что поэзия была в немилости у мудрецов. Как бы то ни было, нельзя во всяком случае скрыть, что порок лжи всегда выглядит крайне неуместным для благородного человека, какое бы ему ни придавать обличие.

Что касается того лица, о котором я говорю вам, сударь, то к нему совершенно неприменимы только что сказанные мною слова, ибо опасность в данном случае не в том, что я ему приписываю какую-



Stephani Boetiani,  
Consiliarij regij  
in Parlamento  
Burdigalēsi,  
Poemata.



Титульный лист стихотворений Ла Боэси, изданных Монтенем

нибудь славу, а в том, что я его лишаю ее. Его несчастье в том, что хотя он оставил мне столько, сколько только человек может, основательных и веских поводов для восхваления его, однако я обладаю весьма слабыми средствами и способностями воздавать их ему. Я говорю о себе, так как мне одному он открывался до конца и так как один я мог дать представление о бесчисленных совершенствах и добродетелях, которые гибли втуне в его прекрасной душе из-за немилости к нему фортуны. Действительно, так как природа вещей почему-то устроила так, что как бы ни была прекрасна и приемлема истина сама по себе, но мы принимаем ее лишь тогда, когда она в灌灌ена нам с помощью убеждения, то я чувствую себя совершенно обезоруженным и лишенным средств, чтобы утвердить свое простое свидетельство; у меня настолько недостает красноречия, чтобы расцветить и отстоять его, что я едва совсем не отказался от заботы об этом, так как у меня не оставалось от него почти ничего, чем я мог бы достойным образом показать миру по крайней мере его ум и его эрудицию.

В самом деле, сударь, будучи застигнут судьбой в расцвете лет и в расцвете очень крепкого и хорошего здоровья, он меньше всего помышлял о создании произведений, которые призваны были бы свидетельствовать перед потомством, каков он был в этом деле; однако возможно также, что если такая мысль и приходила ему в голову, то он был достаточно мужественен, чтобы не очень этим интересоваться. Но в конце концов я пришел к мысли, что ему гораздо более простительно то, что он похоронил с собой столько редчайших милостей неба, чем было бы мне, если бы я похоронил и то, что мне было известно о них. И потому после того, как я тщательно собрал все то, что я мог найти законченного среди его черновиков и рассеянных по разным местам бумаг — плоды его развлечений и занятий,— мне показалось правильным, каковы бы они ни были, распределить наследие это, разделив его на столько частей, на сколько я мог, с тем, чтобы получить, таким образом, возможность увековечить память о нем среди наибольшего числа людей. Я выбирал их среди наиболее выдающихся и достойных лиц из моего окружения, признание

которых было бы для него наиболее почетным, вроде, например, Вас, сударь, хотя Вы и сами могли иметь некоторое представление о нем при жизни его, но, разумеется, далеко не достаточное, чтобы судить о масштабах его ценности в целом. Потомство рассудит его, как ему угодно будет, но я клянусь ему своей совестью, что, беря все в целом, я знал и видел его таким, что вряд ли, даже при всем желании, и мог бы себе представить кого-нибудь стоящим выше его; рядом с ним я мог бы поставить очень немногих.

Покорнейше прошу Вас, сударь, взять на себя охрану не только его имени, но и этих десяти или двенадцати французских стихотворений, которые по необходимости ставят себя под защиту Вашей милости. Ибо не скрою от Вас, что опубликование их, в отличие от остальных его произведений, было отложено под предлогом, что их не нашли там<sup>2</sup> достаточно отделанными, чтобы выпустить в свет.

Вы убедитесь, сударь, в чем тут дело; и так как, повидимому, это суждение касается всей этой округи в целом<sup>3</sup>, ибо они полагают, что из здешних мест не может выйти ничего на французском языке, что не отдавало бы варварством и дикостью, то прямая Ваша обязанность, Вас, который к полученной от предков чести принадлежать к первейшему дому в Гиени прибавил еще со своей стороны первоклассные во всех отношениях способности, — состоит в том, чтобы поддержать не только своим примером, но также и авторитетом Вашего свидетельства, что это не всегда верно. И хотя гасконцам более свойственно действовать, чем говорить, однако они нередко действуют языком не хуже, чем рукой, и умом не хуже, чем сердцем.

Что касается меня, сударь, то не мое дело судить о подобных вещах, но я слышал от разбирающихся в этом деле людей, что эти стихотворения не только достойны представать на книжный рынок, но, более того, что если приглядеться к красоте и богатству их изобретательности, то можно убедиться, что и по существу своему они так сочны, ярки и обильны мозгом, как только весьма немногие, известные до настоящего времени на нашем языке. Разумеется, всякий зодчий чувствует себя в некоторых частях своего искусства более стес-

ненно, и к самым счастливым относятся те, которые выбрали себе самые благородные части его: ибо все части для построения целого необходимы, но не все равнозначны. Возможно, что изящество языка, нежность и блеск в некоторых других стихах больше сверкают, чем в этих; но в смысле привлекательности образов, богатства поэтических порывов, остроты и разнообразия мыслей я отнюдь не думаю, чтобы какие-нибудь другие превосходили их.

Необходимо к тому же учесть, что это не было ни его основным занятием, ни предметом его изучения, и много если он хоть один раз в год брал для этого перо в руки, доказательством чего является как мало то, что нам осталось от всей его жизни.

Ведь Вы имеете перед глазами, сударь, все и вся, что попало ко мне в руки, без разбора и отбора, так что среди этого имеются даже стихотворения его детской поры. Короче говоря, похоже на то, как если бы он занимался этим делом лишь для того, чтобы сказать себе, что он способен был на все, ибо тысячи и тысячи раз, даже при самых обычных его высказываниях, нам приходилось слышать от него вещи, куда более достойные известности и более достойные восхищения.

Вот что повелевают мне сказать Вам, сударь, об этом великом и достойнейшем человеке лишь изредка объединяющиеся разум и любовь. И если Вам покажется неуместной вольность, которую я позволил себе, обращаясь к Вам и задержав на этом так долго Ваше внимание, то вспомните, пожалуйста, что важнейшие последствия величия и выдающегося положения состоят в том, чтобы подвергаться назойливости посторонних лиц и заниматься чужими делами. Вслед за тем предоставляю к Вашим услугам мою преданность Вам и молю бога, сударь, да ниспошлет он Вам пресчастливую и долгую жизнь.

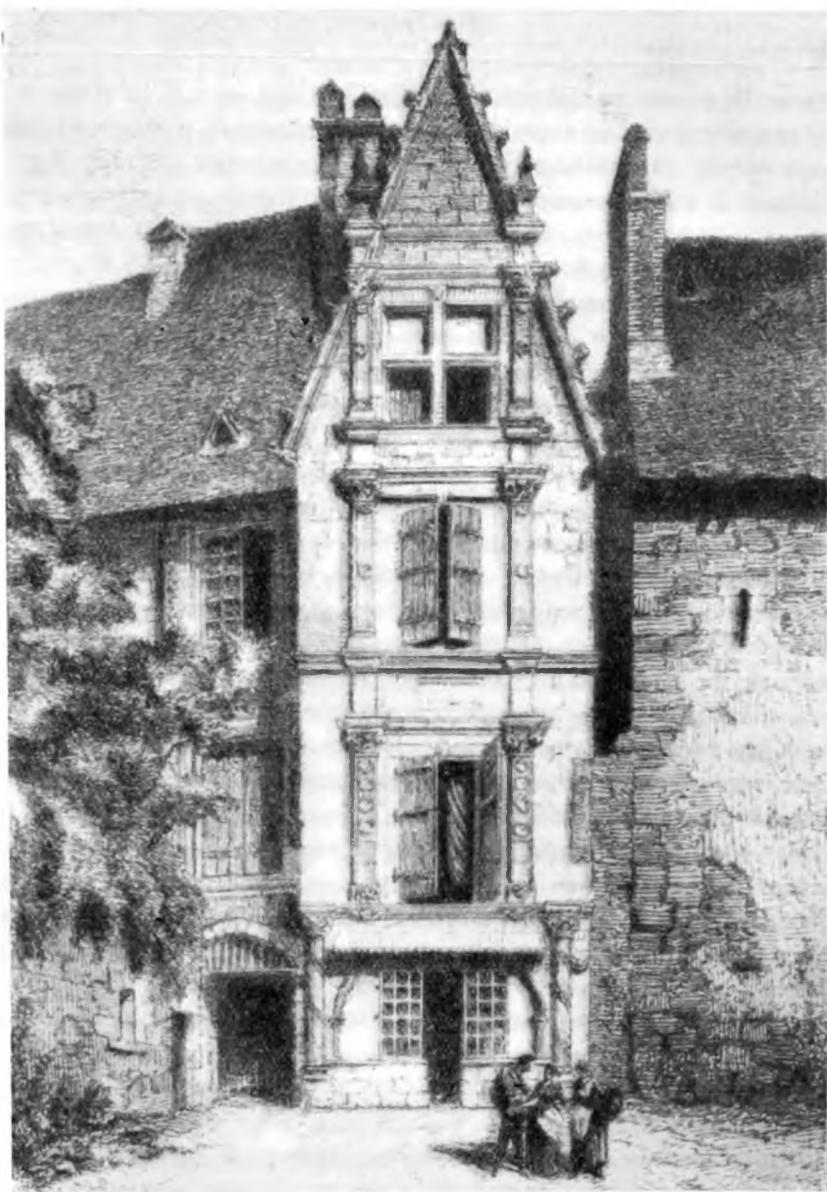
Ваш покорный слуга

*Мишель де Монтень.*

Замок Монтень.  
Сего первого сентября 1570 г.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА, НАПИСАННОГО ГОСПОДИНОМ МОНТЕНЕМ  
СВОЕМУ ОТЦУ И СОДЕРЖАЩЕГО НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ СВЕДЕНИЯ,  
КАСАЮЩИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ БОЛЕЗНИ И СМЕРТИ ПОКОЙНОГО  
ГОСПОДИНА ЛА-БОЭСИ<sup>1</sup>

Что касается его последних слов, то я могу — если вообще кто-либо может — дать в этом точный отчет как потому, что во все время его болезни он общался со мной столь охотно, как ни с кем другим, так и потому, что при той исключительной братской дружбе, которую мы питали друг к другу, я самым точным образом знал его склонности, суждения и взгляды в течение всей его жизни; знал, разумеется, настолько, насколько человек может вообще знать другого человека. И так как мне известно было, как они были возвышенны, благородны и преисполнены мужества, короче говоря, прекрасны, то я заранее предвидел, что если только болезнь не лишит его возможности разговаривать, то при подобном испытании у него на устах будет только значительное, только такое, что может служить примером для других; поэтому я старался быть как можно внимательнее. Правда, при моей сравнительно короткой памяти, которая к тому же была еще ослаблена переживаемой мною скорбью по столь тяжелой и незаменимой утрате, конечно, невозможно, монсеньер, чтобы я не забыл многого из того, что я рад был бы довести до всеобщего сведения, но то, что я еще помню, я изложу Вам со всей той точностью, на которую я вообще способен. Разумеется, для того, чтобы описать Вам его, с мужественной решимостью, смело идущим на встречу тому, что его ожидало, чтобы изобразить Вам всю силу этого несокрушимого духа в раздираемом болью и чудовищным напряжением в единоборстве со смертью теле, для этого требуется значительно более искусное перо, чем мое. Если даже тогда, когда он был здоров, очень нелегко было хорошо записать за ним его манеру рассуждать о трудных и важных вопросах, то на сей раз мысль и слово у него буквально состязались в стремлении оказать ему последнюю услугу. Действительно, никогда еще я не видел его более переполненным прекрасными образами, более красноречивым, чем во время его



Дом в Сарла, в котором родился Этьен Ла Боэси

болезни. Впрочем, монсеньер, если Вы найдете, что я отметил при этом также его слова, касавшиеся более обыденных и менее существенных вещей, то признаю, что я сделал это намеренно: ибо, будучи высказаны в такой момент и при столь исключительных обстоятельствах, они являются единственным в своем роде свидетельством полного душевного спокойствия, уверенности и выдержки.

Когда я вернулся из парламента,— это было в понедельник, 9 августа 1563 г.— я послал к нему, с тем, чтобы пригласить его к обеду. Он просил поблагодарить меня, сообщив при этом, что несколько неважно себя чувствует и что я доставлю ему удовольствие, если захочу провести с ним часок, прежде чем он отправится в Медок. Я навестил его сразу же после обеда. Он лежал одетый, с каким-то уже изменившимся выражением лица. Он сказал мне, что у него понос и рези, вызванные тем, что за день до этого, во время игры с господином д'Эскар<sup>2</sup>, на нем была только куртка под шелковым камзолом и что холод не раз уже оказывал на него подобное действие. Я одобрил его намерение отправиться в давно уже замышлявшуюся им поездку, но с тем, однако, чтобы он сегодня вечером сделал остановку в Жерминьяне<sup>3</sup>, находящемся в 2 милях от города. Сделал я это, принимая во внимание, что в непосредственной близости от того места, где он жил, находилось несколько зачумленных домов, он же немного побаивался чумы, так как только что вернулся из Перигора и Аженуа, где она свирепствовала во-всю. Кроме того, я в свое время убедился на опыте, что при такой болезни, как у него, полезно проехаться верхом. Итак, он выехал вместе со своей женой, мадемуазель Ла Боэси и со своим дядей, господином де Буйонна<sup>4</sup>.

Рано утром на следующий день госпожа Ла Боэси прислала ко мне слугу с известием, что он плохо провел ночь, страдая от сильнейших припадков дизентерии. Она послала за врачом и аптекарем и просила меня прийти, что я, позавтракав, и сделал.

Он необычайно обрадовался моему приходу, а когда я стал прощаться и хотел уйти, обещая на следующий день опять навестить его, он начал просить меня с большей горячностью и настойчивостью.

чем когда-либо раньше, чтобы я оставался с ним, сколько только я могу. Это как-то ошеломило меня. Однако, когда, несмотря на это, я собрался уходить, то госпожа Ла Боэси, предчувствуя уже надвигавшееся несчастье, со слезами на глазах стала просить меня остаться и никуда не уходить в этот вечер. Она, таким образом, удержала меня, а он радовался этому вместе со мной. На следующий день я опять пришел к нему, и так же было и в четверг. Его состояние ухудшалось, кровавый понос и боли в животе, увеличивавшие его слабость, обострялись с каждым часом.

В пятницу я ушел от него так же, как и в предыдущие дни, в субботу я нашел его очень угнетенным. На сей раз он заявил мне, что болезнь его в известной мере заразительная и, кроме того, удручающая и отвратительная; он сказал, что очень хорошо знает мой характер и просит меня приходить к нему так часто, как только я могу. С этого момента я уже больше не оставлял его. До воскресенья он ничего не говорил мне о своем состоянии, и мы беседовали только о характерных особенностях и признаках его болезни, вспоминали, что говорили по этому поводу врачи древности; политических тем касались очень мало, так как с самого же начала я убедился, что он пресыщен ими.

В воскресенье у него был сильнейший приступ слабости, и когда он пришел в себя, то сказал, что все у него перепуталось и что он ничего не видел, кроме темной тучи и густого тумана, в котором все носились в беспорядке, но что весь этот приступ не был неприятным. «Смерть не хуже этого, брат мой», — сказал я ему по этому поводу. «Но нет ничего худшего», — ответил он.

Так как с самого начала болезни он потерял сон и ему становилось все хуже, несмотря на все лекарства и несмотря на то, что стали даже прибегать к известным напиткам, к которым прибегают только в крайних случаях, то с этого времени он стал терять всякую надежду на свое выздоровление и сообщил мне об этом. В этот день, так как ему было лучше, я сказал ему следующее. При той безграничной дружбе, которую я к нему питал, было бы непростительно с моей стороны, если бы я не позаботился о том, чтобы он,

у которого, когда он был здоров, все его дела были в таком образцо-вом порядке, как, пожалуй, ни у кого другого, не продолжал этого и во время болезни, и если богу угодно будет, чтобы состояние его ухудшилось, то я буду очень огорчен, если из-за отсутствия его указаний то или иное из его домашних дел останется неразрешенным, как ввиду того ущерба, который могут потерпеть из-за этого его родные, так и из-за того, чтобы от этого не пострадало его доброе имя. Он выслушал все сказанное мной с очень бодрым выражением лица. Затем приняв решение по поводу тех трудностей, которые связаны были для него с этим делом, он попросил меня позвать к нему его дядю и жену, чтобы он мог сообщить им, что он решил по поводу своего завещания. Я предупредил его, что он может этим испугать их. «Нет, нет,— ответил он,— я постараюсь их утешить и вселить им больше надежд на мое выздоровление, чем яитаю сам». Затем он спросил меня, не напугали ли нас те приступы слабости, которые у него были. «Это ничего не значит, брат мой,— заверил я его,— это обычные явления, связанные с этой болезнью». «Это действительно ничего не значит, брат мой,— ответил он,— даже если бы из этого и произтекло то, чего Вы больше всего боитесь». «Для Вас это было бы только счастьем,— возразил я,— но утрату понес бы я, который лишился бы общества такого большого, такого мудрого и преданного друга, и вообще такого друга, относительно которого я совершенно уверен, что мне никогда уже не найти второго такого».

«Возможно, брат мой,— согласился он,— и я заверяю Вас, что меня побуждает прилагать известные старания к выздоровлению и не спешить к границе, которую я уже наполовину перешагнул, только мысль о той утрате, которую понесете Вы, и этот несчастный человек, и эта несчастная женщина (он имел в виду своего дядю и свою жену); обоих их я совсем по-особому люблю, и я убежден, что им будет необычайно тяжело потерять меня; утрата эта, разумеется, будет велика для Вас и для них. Я думаю также об огорчении многих хороших людей, любивших и уважавших меня при жизни и от общества которых я, конечно, не отказался бы, если бы это от меня зависело. И если мне суждено уйти из жизни, то я прошу, мой брат,

Вас, который их знает, засвидетельствовать им, что я питал к ним привязанность вплоть до этого последнего предела моей жизни. И затем, брат мой, слушаю угодно было, что я не родился столь бесполезным, чтобы мне не суждено было послужить общественному делу. Но как бы то ни было, я готов уйти из жизни, когда это угодно будет Богу, будучи твердо уверен в том благоденствии, которое Вы мне предсказываете. Что же касается Вас, мой друг, то я знаю, что Вы столь мудры, что, при всей Вашей заинтересованности в моем выздоровлении, Вы терпеливо и послушно подчинитесь всему, что провидению угодно будет решить относительно меня. И я умоляю Вас позаботиться о том, чтобы горе, вызванное моей смертью, не перешагнуло у этого доброго человека и у этой хорошей женщины через порог разума».

Вслед за тем он осведомился, как они себя чувствуют. Я сказал: «Достаточно хорошо для такого серьезного положения». «Да,— сказал он,— пока еще хорошо, до тех пор, пока у них есть еще небольшая надежда, но когда я полностью лишу их ее, то Вам, мой друг, будет стоить больших усилий удержать их». Памятая все время об этом, он, пока жив был, скрывал уверенность в своей смерти и просил меня в нужных случаях делать то же самое. Когда он видел их около себя, он заставлял себя принимать более веселое выражение лица и внушал им радостные надежды.

На этом месте я оставил его и пошел позвать их к нему. Они привели, насколько могли, в порядок свои лица. по крайней мере на время. И после того как все мы уселись вокруг его постели и остались только вчетвером, он заговорил с серьезным и как бы сияющим радостью выражением лица:

«Дорогой дядя, дорогая жена, заверяю вас честным словом, что не новый припадок моей болезни и не сомнение в моем выздоровлениинушили мне мысль позвать Вас к себе, чтобы сообщить Вам мои решения, ибо я чувствую себя, слава Богу, очень хорошо и полон надежд. Но ввиду того, что я издавна знаю как по опыту, так и из книг всю неустойчивость и превратность человеческих судеб и как мало можно полагаться и на нашу, столь ценимую нами жизнь,

которая, однако, есть не что иное, как дым и тлен, и принимая, далее, во внимание также, что я болен и стою поэту ближе обычного перед угрозой смерти, я решил привести в известный порядок мои домашние дела, после того как я сначала заслушаю Ваше мнение по этому поводу».

Вслед за тем, обратившись к дяде, он сказал: «Добрый мой дядя, если бы я должен был только в этот час отчитаться в том, сколь многим я Вам обязан, то я не мог бы успеть этого сделать; но я довольноствую тем, что до настоящего момента, где бы я ни находился и с кем бы я ни разговаривал об этом, я всегда говорил, что все, что только может сделать очень мудрый, очень добрый и очень преданный отец для своего сына, было Вами сделано для меня, как в смысле заботы о том, чтобы дать мне прекрасное образование, так и в смысле устройства меня на общественные должности. Так что в течение всей моей жизни я все время видел бесчисленные и достойные всяческого уважения проявления Вашей дружбы ко мне. Короче говоря, всем, что я имею, я обязан Вам, я признаю все это Вашей собственностью, я ответственен перед Вами за это; Вы мой настоящий отец, и поэтому я, как сын, не имею права ничем распоряжаться, если Вам не угодно будет наделить меня соответствующими полномочиями». Он замолчал и подождал, пока сквозь стоны и слезы его дядя сумел ответить ему, что он всегда одобрят все его пожелания. Тогда, назначив дядю своим наследником, он просил его принять от него все состояние, которое ему принадлежало.

После чего он обратился к своей жене: «Мое подобие,— сказал он (он часто называл ее так в память их давней тесной привязанности),— после того, как я связал себя с Вами узами брака, являющимся самым святым и нерушимым союзом, ниспосланным нам богом для поддержания человеческого рода, я любил Вас, оберегал и уважал, как только мог, и я совершенно уверен, что и Вы питали ко мне те же чувства, за что я не в силах выразить Вам свою благодарность. Я прошу Вас взять из моего состояния то, что я Вам назначаю, и ограничиться этим, хотя я прекрасно сознаю, как это ничтожно мало по сравнению с Вашими заслугами».

Обратившись ко мне, он сказал: «Брат мой, которого я так люблю и которого я избрал среди стольких других людей для того, чтобы возобновить с ним ту добродетельную и чистосердечную дружбу, обычай которой из-за разных пороков давно уже утрачен среди нас настолько, что в память древности от него осталось только несколько старых следов,— прошу Вас, в знак моей любви к Вам, быть преемником моих книг, которые я Вам дарю; это небольшой подарок, но он исходит от чистого сердца и очень подходит Вам при Вашей любви к наукам. Это будет для Вас *muymбсюон tui sodalis*<sup>5</sup>.

А затем, обращаясь уже ко всем троим, он благодарили бога за то, что, находясь в таком тяжелом положении, он мог иметь около себя самых дорогих ему на свете людей. Он говорил, как приятно ему видеть это собрание четырех, столь единодушных и объединенных между собой дружбой людей; собрание, которое, на его взгляд, доказывает, что мы все любили друг друга, один ради другого. И, поручив нас друг другу, он продолжал: «После того как я привел в порядок свои дела, мне остается еще подумать о своей совести. Я христианин, католик, таким я жил и таким хочу закончить свою жизнь. Пригласите священника, ибо я не хочу пренебречь этим последним долгом христианина».

На этом он закончил свою речь, которую он произнес с такой уверенностью во взгляде и с такой силой в голосе, что мне, который, войдя в его комнату, застал его слабым, еле слышно и с трудом выговаривавшим одно слово за другим, со слабым, лихорадочным, умирающим пульсом, казалось, что он как будто бы чудом обрел в себе новую силу: его кожа порозовела, пульс стал биться значительно сильней, так что я заставил его нащупать мой пульс и сравнить их. Но сердце мое все еще было так подавлено, что я не находил ни слова ему в ответ. Однако часа два-три спустя, когда, как для того, чтобы поддержать в нем это величие духа, так и ввиду той заботы о его славе и чести, которая не оставляла меня всю жизнь, я пожелал, чтобы как можно больше свидетелей увидело эти прекрасные образцы мужества, и число людей в его комнате возросло,— я сказал ему, что краснею от стыда, ибо у меня нехватало духа слушать то,

что он, так жестоко страдающий, имел мужество мне сказать; до сегодняшнего дня я не думал, что бог дал нам такую силу владеть собой, и я с трудом верил тому, что мне приходилось иногда читать у историков по этому поводу; но теперь, увидев воочию такой пример, я возвысился над богом за то, что встретил эту силу духа в человеке, которого я так люблю и который так любит меня, и это послужит мне образцом, которому я в свою очередь последую.

Он прервал меня, сказав, что просит меня поступать таким же образом и этим доказать на деле, что те слова, которыми мы с ним обменивались тогда, когда он был здоров, были не только у нас на устах, но были заложены глубоко в наших сердцах и душах, чтобы претвориться в дело, как только представится случай. Это, прибавил он, подлинное практическое применение наших знаний и нашей философии; затем, взяв меня за руку, он сказал: «Брат мой, друг мой, заверяю Вас, что мне, кажется, приходилось в моей жизни делать не мало дел с такими же усилиями и напряжением, как я делаю это сейчас. И говоря все до конца, должен сказать, что я уже давно готов был к этому испытанию и с давних пор знал свой урок наизусть; и разве я не достаточно пожил, достигнув того возраста, в котором нахожусь? Я как раз собирался вступить в тридцать третий год своей жизни. По милости божьей, я в течение всей моей жизни до этого часа был здоров и счастлив; при превратности человеческих судеб вряд ли так могло продолжаться дальше. Теперь предстояло время обратиться к делам и столкнуться с тысячью неприятных вещей, как, например, с докукаами старости, от которых я таким образом избавляюсь. Кроме того, весьма возможно, что я до этого времени жил с большей простотой и незлобивостью, чем это было бы, если бы — что могло стать — мной овладела забота об обогащении и лучшем устройстве моих дел, между тем как сейчас я убежден, что отправляюсь к богу и к праведникам». Увидев, что я слушаю это с нетерпением, он сказал: «Как, брат мой, неужели Вы хотите внушить мне страх? Кому как не Вам следовало бы развеять его, если бы он владел мной?»

В этот же вечер пришел нотариус, вызванный для того, чтобы

составить завещание; я велел ему заготовить все на бумаге и спросил Ла Боэси, не хочет ли он подписать завещание. «Не подписывать я буду, а сам все это сделаю, но я хотел бы, брат мой, чтобы мне дали еще небольшую передышку, так как я очень устал и так слаб, что ничего не в силах делать». Я постарался тогда переменить тему разговора, но он внезапно вернулся к ней и, сказав, что перед смертью нет нужды в больших передышках, просил меня узнать у нотариуса, быстро ли он пишет, ибо, диктуя, он не будет останавливаться. Я позвал нотариуса, и он тут же стал диктовать свое завещание с такой быстротой, что трудно было поспевать за ним. Когда он кончил, то попросил меня прочитать записанное и затем, обращаясь ко мне, сказал: «Сколько забот отнимают наши богатства. *Sunt haec quae hominibus vocantur bona*<sup>6</sup>. Подписав затем завещание<sup>7</sup>, он спросил меня, так как комната была полна людей, не вредно ли ему разговаривать; я ответил, что нет, но чтобы он разговаривал совсем тихо.

Тогда он велел позвать свою племянницу, мадемуазель де Сен-Кантен<sup>8</sup>, и, обратившись к ней, сказал: «Дорогая племянница, дорогая подруга, с тех пор как я узнал тебя, мне казалось, что я вижу в тебе отблеск черт твоей прекрасной натуры, но эти последние услуги, которые ты с такой любовью и заботливостью оказываешь мне в моем теперешнем состоянии, сулят мне еще большие надежды в отношении тебя, чем я ожидал, и я действительно очень обязан тебе за все то, что ты для меня делаешь, и от души благодарю тебя за это. Наконец, памятуя о моем долге по отношению к тебе, прошу тебя прежде всего смириенно повиноваться богу, ибо это, бесспорно, важнейшая наша обязанность и без этого ни одно наше деяние не может быть ни хорошим, ни прекрасным; если же благочестие на высоте, то оно влечет за собой все другие добродетельные поступки. После бога ты должна любить своих отца и мать; мать твою, т. е. мою сестру, я отношу к числу лучших и умнейших женщин на свете, и я прошу тебя, бери с нее пример в твоей жизни. Не увлекайся удовольствиями, избегай, как чумы, тех непомерных вольностей, которые иногда позволяют себе женщины с мужчинами, ибо если даже вначале в них

нет ничего дурного, то они мало-помалу портят человека, приучают его к безделью, а отсюда прямой путь в болото порока. Верь мне, что лучшей блюстительницей чистоты нравов является строгость. Я прошу тебя и хочу, чтобы ты помнила обо мне, чтобы память о моей привязанности к тебе была у тебя перед глазами, но отнюдь не для того, чтобы ты горевала и оплакивала меня,— это я запрещаю, насколько я в силах это сделать, всем моим друзьям, ибо иначе могло бы показаться, что они завидуют тому счастью, к которому я скоро приобщусь благодаря своей смерти. И заверяю тебя, дочь моя, что если бы господь предоставил мне в этот час свободу выбора — вернуться ли мне к жизни, или дойти до конца того пути, на который я вступил — то выбор оказался бы для меня необычайно труден. Прощай, моя племянница, родная моя».

Потом он велел позвать к себе свою падчерицу, мадемуазель д'Арсак<sup>9</sup>, и сказал ей: «Дочь моя, Вы не нуждаетесь в моих наставлениях, имея такую прекрасную и умную мать, которую мне посчастливилось найти в исключительном соответствии с моими ожиданиями и пожеланиями и которая никогда не поступала неправильно. Благодаря такой наставнице, Вы всегда будете иметь хорошее руководство. Не считайте странным, что я, не будучи связан с Вами никаким родством, беспокоюсь о Вас и вмешиваюсь в Вашу жизнь: Вы являетесь дочерью самого близкого мне человека, так что все, что Вас касается, касается также и меня; равным образом, я всегда заботился и о делах Вашего отца, господина д'Арсак, не меньше, чем о своих собственных; я полагаю, что то, что Вы были моей падчерицей, не будет Вам помехой на Вашем жизненном пути. Вы обладаете красотой и состоянием, Вы молодая женщина из хорошей семьи, Вам остается присоединить ко всему этому только духовные богатства, чего я Вам и желаю. Я не отвращаю Вас от порока, который так противен у женщин, ибо я не допускаю мысли, чтобы что-либо подобное могло прийти Вам в голову, и убежден в том, что самое имя его звучит для Вас ужасно. Прощайте, моя падчерица!»

Вся комната была наполнена стонами и слезами, но они, однако, не могли нарушить хода его мыслей. Его прощальные слова были

длинными, но, кончив их, он велел всем выйти, за исключением его «гарнизона» — так он называл девушек, обслуживавших его. После этого он позвал моего брата, господина Борегара<sup>10</sup>, и сказал ему: «Господин Борегар, очень Вас благодарю за Вашу заботу обо мне. Хотите ли Вы, чтобы я открыл Вам нечто, что у меня на душе в связи с Вами?» И когда мой брат выразил желание узнать это, он сказал ему следующее: «Клянусь Вам, что из всех тех людей, которые являются поборниками реформы церкви, я не видел никого, кто был бы преисполнен большого рвения и так беззаветно, искренно и всецело отдавался этому делу, как Вы. Я убежден в том, что Вас привели к этому только пороки наших прелатов, пороки, несомненно требующие коренных исправлений, и некоторые неполадки, вкравшиеся с течением времени в нашу церковь. Я не хочу сейчас отговаривать Вас от Ваших убеждений, так как я никому не предлагаю — чего бы это ни касалось — поступать против своей совести. Но из уважения к добréй славе, которую стяжал себе Ваш род постоянно царившим в нем согласием, род, который я ценю превыше всех других на свете (бог мой, какой род, из которого никогда не исходило ни одного недобропорядочного действия!), — из уважения к воле Вашего отца, этого доброго отца, которому Вы стольким обязаны, из уважения к Вашему дяде, к Вашим братьям, я хочу Вам прямо сказать: избегайте подобных крайностей, не будьте столь нетерпимы и пристрастны, примиритесь с ними. Не входите в особую группу или особыю организацию, но объединитесь все вместе. Вы видите, сколько бедствий причинили эти религиозные разногласия нашему государству, и я ручаюсь Вам, что они принесут еще значительно большие. Так как Вы умны и добры, то не вносите этого разлада в Вашу семью с риском лишить ее той славы и благоденствия, которыми она пользовалась до этого времени. Примите дружески, господин Борегар, то, что я Вам говорю, и усмотрите в этом увернейший признак той дружбы, которую я пытаю к Вам; ибо до этой минуты я воздерживался сказать Вам это. Я полагаю, что, может быть, Вы, видя, в каком состоянии я это говорю, придадите моим словам больше веса и значения». Мой брат от души поблагодарил его.

В понедельник утром ему было так плохо, что он потерял всякую надежду на выздоровление, настолько, что когда он меня увидел, то жалобно подозвал к себе и спросил: «Брат мой, сочувствуете ли Вы тем бесконечным страданиям, которые я терплю? Не убедились ли Вы теперь, что все то лечение, которое Вы применяете ко мне, ведет лишь к продлению моей муки?» Через несколько минут он лишился чувств, причем обморок был такой глубокий, что казалось, он кончится смертью, пока, наконец, с помощью уксуса и вина его удалось привести в сознание. Но еще долго спустя он ничего не видел, и когда он услышал наши рыдания около него, то сказал: «Бог мой, кто так мучает меня? Зачем меня вырывают из того сладостного и прекрасного покоя, в котором я находился? Оставьте же меня, прошу Вас!» И вслед за тем, услышав мой голос, он сказал: «Как, и Вы тоже, брат мой? Вы тоже не хотите, чтобы я выздоровел? О, ощущение здоровья, вы заставляете меня терять его!»

После этого он почувствовал себя значительно лучше и попросил немного вина; оно было ему приятно, и он сказал мне, что это лучший в мире напиток. «Это не вино,— возразил я, чтобы заставить его заговорить,— это вода». «Это моя ѿдѡр Ѹрістou»<sup>11</sup>,— ответил он мне на это. Его конечности и даже лицо были уже холодны, как лед, и все его тело покрылось смертельным потом, пульс невозможно было прощупать.

В это утро он исповедовался священнику, но так как последний не захватил с собой всего необходимого, то он не мог отслужить молебен. Во вторник утром дядя Ла Боэси попросил больного ради облегчения исполнить свой долг христианина; он прослушал поэтому молебен и причастился. Когда священник прощался с ним, Ла Боэси сказал ему: «Духовный отец мой, смиренно прошу Вас и тех, кто находится под Вашей защитой, молитесь за меня богу. Если его святым решением предписано, чтобы я в этот час закончил свои дни, то пусть он смилиостивится над моей душой и простит мне мои бесконечные прегрешения, ибо невозможно, чтобы такое низкое и обыкновенное создание, как я, мог выполнить веления столь великого и могущественного бога; если он считает, что я еще нужен здесь, на

Entre Hélier et ichan Gabourin freres appellaient du Sénéchal d'Albion ou son lieutenant au  
Sieg de Casteldeux et commandant le commandement de certaine requeste d'une partie  
Et Siame Gabourin membre et aymable chevalier requeste d'autre

Sur le procès chevalier requeste desd' appelleurs du septentrion mais nul cinqoies  
souvent et un vingtaine ans fures pour les causes i sentences merre l'appel et  
ce digne a este appelle au recours sans amende et dispense et autres  
procès et productions des parties

Il sera dict que le Comte molt rappel au recours sans amende et  
ordene que u digne a este appelleur fera son plaisir et enier effect  
condamne le fest appelleur envers le chevalier requesteur qui dispendra  
de la cause d'appel la tare d'iculs a la chevalerie requestee

Réf me: ton relator au siegy du Gran  
D'Albion

Recys Je en merite

A Pessours les propdes  
Alyme  
Omonie  
Les grevres de la Guerre  
Argent  
De la teste  
Le conte  
Du duc  
De la bretie

земле, и он желает сохранить меня до другого случая, то молите его, чтобы он поскорее прекратил мои страдания и чтобы он явил мне милость, направив в дальнейшем мои стопы согласно его воле и сделав меня лучше, чем я был». В этом месте он остановился, чтобы перевести дыхание, но когда он увидел, что священник уходит, то вернул его и сказал ему: «Я хочу в Вашем присутствии сказать еще следующее: я признаю, что хочу умереть в той вере, в которой я крещен и в которой прожил свою жизнь, в той вере, которую вначале Моисей насадил в Египте, которую затем отцы восприняли в Иудее и которая в дальнейшем с течением времени дошла до Франции». Судя по его выражению лица, он хотел бы еще продолжать говорить, если бы был в силах, но он закончил на этом, попросив своего дядю и меня молиться за него Богу: «Ибо,— сказал он,— это величайшая услуга, которую христианин может оказать христианину». Пока он говорил, у него раскрылось плечо, и он попросил своего дядя укрыть его, хотя слуга стоял к нему ближе; обратившись ко мне, он сказал: «*Ingenui est, cui multum debeas, ei plurimum velle debere*»<sup>12</sup>.

Господину Бело, который пришел после обеда навестить его, он протянул руку и сказал: «Дорогой друг, я готов был уплатить свой долг, но я нашел хорошего кредитора, который простил мне его». Немного погодя, внезапно пробудившись от дремоты, в которую он впал, он сказал: «Хорошо, хорошо, пусть она придет, когда хочет, я жду ее в боевой готовности»,— слова, которые он повторял два или три раза во время своей болезни. Когда ему потом насиливо открыли рот, чтобы заставить его сделать глоток, он сказал, обращаясь к господину Бело: «*An vivere tanti est?*»<sup>13</sup>.

К вечеру, при ясном сознании, он стал все больше походить на покойника; когда я сел ужинать, он велел меня позвать, это была уже только тень человека, как он сам сказал о себе: «*Non homo, sed species hominis*»<sup>14</sup>. С большим очень усилием он сказал мне: «Брат мой, друг мой, да будет Богу угодно, чтобы я действительно узрел те образы, которые посещают меня». Подождав некоторое время, пока он молчал и издавал болезненные стоны, пытаясь заставить себя говорить, ибо язык стал уже ему плохо повиноваться, я спросил его:

«Каковы эти образы, брат мой?» «Они значительны, значительны!» — ответил он. «Никогда еще не случалось,— продолжал я,— чтобы я не принимал участия в тех мыслях, которые приходили Вам в голову, не хотите ли Вы, чтобы я и теперь наслаждался этим?» «Я бы с радостью,— ответил он,— но не могу, брат мой, они чудесны, бесконечны и несказанны».

На этом разговор прервался, ибо он не в силах был более продолжать его. Он был настолько слаб, что, несмотря на то, что только что хотел говорить со своей женой и с веселым видом, который он так искусно умел придать себе, сказал ей, что он хочет ей что-то рассказать, вынужден был отказаться от этого; он явно старался заговорить, но у него нехватало сил, и он попросил глоток вина, чтобы подкрепиться. Но все было напрасно, так как он внезапно лишился чувств и долго ничего не видел.

Будучи уже совсем на пороге смерти, он услышал плач своей жены. Он позвал ее и сказал: «Мое подобие, Вы напрасно заранее мучаете себя, разве Вы не хотите пожалеть меня. Приобройтесь! Конечно, я больше страдаю не от своих болей, а от того, что вижу, как Вы страдаете, и это естественно, ибо страдания, которые мы ощущаем в себе, не мы собственно испытываем их, а некие вложенные в нас богом чувства; но то, что мы чувствуем за других, мы ощущаем с помощью определенного суждения и через постижение разумом. Но я оставляю Вас». Последние слова он сказал потому, что сердце его отказывалось работать. Однако из страха напугать жену он поправился и сказал: «Я оставляю Вас, чтобы заснуть. Спокойной ночи, жена моя». Это было его последнее прощание с ней.

Когда она отошла от него, он обратился ко мне: «Брат мой, оставайтесь, пожалуйста, около меня». Затем, то ли потому, что он почувствовал, что тиски смерти все сильнее сжимаются вокруг него, то ли потому, что таково было действие одного горячего лекарства, которое его заставили принять, но голос его стал громче и чище и он сильнее заметался на постели. Все присутствующие опять стали испытывать надежду, ибо до этого мы все уже потеряли всякую надежду из-за его ужасной слабости. Вдруг он стал вновь и вновь с полнейшей

отчетливостью просить меня дать ему место; я испугался, подумав, что у него помутилось сознание. Но хотя я осторожно заметил ему, что он дает болезни овладеть собой и что это были необдуманные слова, он не сдавался, а еще более настойчиво повторил: «Брат мой, брат мой, так Вы отказываете мне в месте?» Пока наконец он не заставил меня доказать ему логически, что раз он дышит, разговаривает и обладает телом, следовательно, он имеет также свое место. «Конечно, конечно, — отвечал он, — я имею место, но не то, которое мне нужно», и затем, договаривая до конца, должен сказать: «во мне больше нет жизни». «Бог скоро даст Вам лучшую», — сказал я. «Ах, если бы я уже был там, брат мой, вот уже три дня, как я рвусь отправиться в этот путь».

Во время этих терзаний он часто подзывал меня к себе только для того, чтобы убедиться, что я нахожусь около него. Под конец он стал несколько успокаиваться, что еще более вселило в нас надежду на лучшее, так что я, выйдя из комнаты, радовался по этому поводу вместе с его женой. Но спустя примерно час, в течение которого он раз или два подзывал меня, он глубоко вздохнул и скончался около трех часов утра, в среду восемнадцатого августа тысяча пятьсот шестьдесят третьего года, прожив 32 года 9 месяцев и 17 дней.





## КОММЕНТАРИЙ

Русский перевод «Рассуждения о добровольном рабстве» сделан по изданию Паяна (J. F. Payen. Notice bio-bibliographique sur La Boétie... suivi de La Servitude volontaire, donnée pour la première fois selon le vrai texte de l'auteur d'après un manuscrit contemporain et authentique. Paris, 1853), в основу которого положена рукопись Ла Боэси, принадлежавшая Анри де Мему (см. примечание на стр. 194—195). Рукопись эта, переплетенная вместе с планом опровержения трактата Ла Боэси, составленным де Мемом, хранится в Парижской Национальной библиотеке (fonds de Mesmes, № 564). Она выгодно отличается от первого издания текста «Рассуждения о добровольном рабстве», напечатанного в «Mémoires de l'Estat de France sous Charles neufièvre» со множеством ошибок и пропуском целых фраз.

### РАССУЖДЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ РАБСТВЕ

<sup>1</sup> Нет в многовластии блага... Гомер. Илиада, песнь вторая, строки 204—205, М.—Л., 1949, стр. 43.

<sup>2</sup> как это было, например, с Афинами при тридцати тиранах. В результате долгой Пелопоннесской войны Спарте удалось в 404 г. до нашей эры нанести сокрушительный удар Афинскому государству. Самым тяжелым последствием этого поражения было уничтожение в Афинах демократического строя. Власть была передана небольшой кучке богачей (олигархам). Всеми делами в Афинском государстве стал вершить комитет 30 олигархов, применивший систему беспощадного террора ко всем сторонникам демократии. Это жестокое правление опиравшихся на Спарту 30 олигархов получило название «тирании тридцати». Демократическое восстание, руководимое Трасибулом, ликвидировало это олигархическое правительство (401 г. до нашей эры).

<sup>3</sup> В столь прославленных битвах Мильтиада, Леонида, Фемистокла. Мильтиад (младший) — знаменитый афинский полководец, особенно прославившийся победой

над персами (армией Дария) при Марафоне (в 490 г. до нашей эры). Марафонская победа была прославлена греческой традицией, как национальная победа эллинов над восточным деспотизмом, над системой порабощения персидской монархии. *Леонид I* — спартанский царь (489—488 гг. до нашей эры). Был послан во главе греческих войск против персов (полчищ Ксеркса) к Фермопильскому ущелью с целью закрыть персам путь в Среднюю Грецию с севера. Но персы обошли небольшой заслон Леонида с тыла, и он, вместе со своими тремя стами спартанцев, пал на поле брани. Позднейшая традиция, стремясь реабилитировать допущенные командованием ошибки, окружила битву при Фермопилах легендами. На месте сражения в Фермопилах поставлен был памятник в честь героической доблести Леонида и его небольшого отряда. *Фемистокл* (ок. 525—461 гг. до нашей эры) — выдающийся политический деятель и полководец Афин в период греко-персидских войн. Стоял во главе так называемой «морской» партии, представлявшей интересы торгово-ремесленных групп, связанных с морской торговлей. Фемистокл стремился нанести персам еще более решительное поражение, чем Мильтиад. Фемистокл содействовал усилинию морской мощи Афин, создав многочисленный флот, превративший Афины в первоклассную морскую державу. После того как персы захватили всю Среднюю Грецию, Фемистокл настоял на сосредоточении всех морских сил у острова Саламина для генерального сражения с персидским флотом. В 480 г. произошло морское сражение при Саламине, в котором греки нанесли персам решительное поражение. Полная победа греков над персами на море явилась поворотным пунктом в ходе войны. В позднейшей традиции эта борьба греков за свою независимость была окружена героическим ореолом. Афинский драматург Эсхил, сам участник Саламинского сражения, так оценивал его значение в драме «Персы»:

Вперед, сыны Эллады!  
Спасайте родину, спасайте жен,.  
Детей своих, богов отцовских храмы,  
Гробницы предков: бой теперь идет за все!..

<sup>4</sup> Лонга, Гильом де Люр, барон Лонга, друг Ла Боэси и предшественник его по бордоскому парламенту. Когда Лонга был призван в парижский парламент, Ла Боэси занял его место. Славившийся своими знаниями, Лонга пользовался большим уважением со стороны Ла Боэси, который дважды обращается к нему в своем «Рассуждении».

<sup>5</sup> создали себе тирана. Имеется в виду Саул, первый царь еврейского народа, помазанный на царство в XI в. до нашей эры.

<sup>6</sup> тирана Писистрата (ок. 600—527 гг. до нашей эры). Афинский тиран. Опираясь на своих приверженцев и на наемные отряды, Писистрат, боровшийся с афинской аристократией и выдававший себя за вождя аттического крестьянства,

около 560 г. до нашей эры захватил власть в Афинах и стал тираном. Положение его было сначала непрочным, и он неоднократно изгонялся из Афин. Только в 540 г. он окончательно укрепился и правил в Афинах до самой смерти.

<sup>7</sup> Так было с *населением Сиракуз, главного города Сицилии* (который теперь, как говорят, называется Сарагосса). Название «Сиракузы» произошло от Сирака, болотистой местности, близ которой был заложен город. Ла Боэси был, повидимому, кем-то введен в заблуждение и ошибочно предполагал, будто Сиракузы стали называться Сарагоссой (в действительности Сарагосса — город в Испании).

<sup>8</sup> Дионисий. Сиракузский тиран (406—367 гг. до нашей эры). Сделавшись главным образом с помощью наемников командиром войск в Сиракузах, Дионисий, воспользовавшись ненавистью народа к знати, захватил власть. Говоря об опасности, которую Дионисий отразил, Ла Боэси имеет в виду долгую и успешную борьбу Дионисия с карфагенянами.

<sup>9</sup> Митридат, говорят, постепенно приучал себя к яду. Митридат VI Евпатор (120—63 гг. до нашей эры), pontийский царь, был одним из самых грозных и могущественных врагов Рима. Ссылка в тексте относится к молодым годам Митридата, когда он должен был наследовать своему отцу, Митридату V, но ему, по рассказу Плиния, пришлось спасаться от козней матери и коварства опекунов. Митридат бежал и в течение нескольких лет скрывался от своих врагов, подвергаясь всяким лишениям. По словам Плиния, Митридат старался закалить себя и приучал себя к яду. На старости лет, побежденный Помпеем и всеми покинутый, Митридат покончил с собой, бросившись на меч, после тщетных попыток отравиться ядом [см. Pline. *Histoire naturelle*, t. II, l. XXV, 3. *Paris*, 1850 (по-латыни и по-французски)].

<sup>10</sup> законодатель Спарты Ликург. Полулегендарный законодатель древней Спарты, которому приписывали создание всего государственного строя Спарты. Однако законы, приписываемые Ликургу, не могли ему принадлежать, так как они явно относятся к более позднему времени. Для писателей XVI века (Маккиавели, Бодена, Монтеня, Ла Боэси и т. д.) Ликург — образец разумного законодателя. Сообщаемый в тексте рассказ заимствован из трактата Плутарха «О воспитании детей...» [см. Plutarch. *Kinderzucht*. München, 1947, стр. 15 (по-гречески и по-немецки)].

<sup>11</sup> Когда Ксеркс снаряжал свою огромную армию для завоевания Греции. Имеется в виду поход 480 г. до нашей эры персидского царя Ксеркса (485—465 гг. до нашей эры) в Грецию. Ла Боэси, повидимому, исходит из данных Геродота о численности персидской армии, но цифры, приводимые Геродотом (свыше 5 миллионов человек), несомненно, сильно преувеличены. Однако они свидетельствуют о том, что армия Ксеркса по тем временам действительно представляла внушительную силу, значительно превосходившую греческие войска.

<sup>12</sup> Талифий. Вестник Агамемнона в «Илиаде» (см. Гомер. *Илиада*, песнь первая, строка 320. М.—Л., 1949, стр. 27).

<sup>13</sup> Два спартанца, один по имени Спартий, другой — Булис, добровольно вынуждались расплатиться за это дело. Этот эпизод и знаменитый ответ, данный обозими спартанцами сатрапу Гидарну, подробно излагаются у Геродота (т. 2, книга VII. М., 1888, стр. 191—192). Маркс сочувственно цитирует этот ответ в статье «Дебаты шестого Рейнского ландтага» (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. I, стр. 187—188).

<sup>14</sup> Катон Утический... — таков был с юных лет этот человек, достойный своей смерти. Марк Порций Катон младший (95—45 гг. до нашей эры), часто называемый Утическим по городу Утике, в котором он закончил свои дни, пронзив себя мечом. По рассказу Плутарха, Катон уже в ранней юности обнаружил твердость характера; таким он был и в отношениях с грозным римским диктатором Суллой (136—78 гг. до нашей эры). Убежденный сторонник республики, Катон в период первого триумвирата (негласного соглашения между Помпеем, Цезарем и Крассом о владычестве над республикой) был неутомимым защитником оимской «свободы», под которой в действительности скрывались интересы крупных землевладельцев и представителей торгового капитала, составлявших основу сенатской партии — оптиматов. В качестве одного из вождей оптиматов, Марк Порций Катон особенно энергично боролся против триумвиров, прибегая к самым разнообразным средствам защиты республиканских принципов. Он пользовался репутацией честного и неподкупного республиканца, одного из последних бойцов за Римскую республику. В разразившейся в дальнейшем борьбе за власть между триумвирами Катон являлся рьяным противником Цезаря и стал на сторону Помпея. Узнав о разгроме помпейцев, Катон покончил с собой. Данные, приводимые Ла Боэси, взяты у Плутарха (см. Биографию Катона Утического. СПб., 1820, стр. 89—258).

<sup>15</sup> Если бы действительно существовала страна вроде той страны киммерийцев, о которой рассказывает Гомер. В «Одиссее» Гомера киммерийцы изображаются как сказочный народ, живший на крайнем Западе, у океана, куда никогда не проникают лучи солнца. Страна их покрыта вечным туманом, «тьма простирается там над жалкими смертными вечно» (см. Гомер. Одиссея, песнь однинадцатая, строки 14—19. Свердловск, 1948, стр. 150).

<sup>16</sup> Мом не зря издавался, когда порицал Вулкана за то, что тот не сделал в созданном им человеке небольшого окошечка в сердце, через которое можно было бы читать его мысли. Мом в греческой мифологии — бог насмешки и злословия. Вулкан — древнеримский бог огня, которого римская мифология отождествила с греческим богом огня, Гефестом. Приводимое в тексте место у Лукиана — «Гермопим или о выборе философии», гласит: «...Я думаю, ты слыхал рассказ про Мому, как он упрекал Гефesta? А если не слыхал, то послушай теперь. Предание гласит, что Афина, Посидон и Гефест поспорили однажды, кто из них искуснее. И вот Посидон сотворил быка, Афина изобрела дом, Гефест же устроил человека. Когда они пришли к Мому, которого выбрали судьей,

тот осмотрел их произведения и в каждом нашел недостатки... Человек... вызвал его издевательство и навлек порицание на своего творца Гефеста тем, что в груди у человека не было устроено дверцы, которая, открываясь, позволяла бы всем распознать, чего человек хочет, что он замышляет, лжет он или говорит правду» (Лукиан. Собр. соч., т. I, М., 1935, стр. 411—412).

<sup>17</sup> когда *Брут* и *Кассий* предприняли попытку освободить Рим... то они не хотели включить в свой состав Цицерона. Ла Бозси имеет в виду рассказ Плутарха в его биографии Цицерона (см. Плутарх. Избранные биографии. М.—Л., 1941). Относительно Брута и Кассия см. прим. 23.

<sup>18</sup> *Гармодий* и *Аристогитон*. Афинские тираноубийцы VI века до нашей эры. Устроили заговор против тиранов Гиппия и Гиппарха, сыновей Писистрата (см. прим. 6). Заговор кончился неудачей: Гармодий был убит на месте покушения, Аристогитон же казнен после длительных пыток. Когда в Афинах восторжествовало демократическое правление, то Гармодий и Аристогитон были объявлены освободителями от тирании, мучениками афинской свободы, «вернувшими гражданам свободу и равенство».

<sup>19</sup> *Трасибул*. Крупный афинский государственный деятель и полководец, славившийся своей любовью к отечеству. Когда в Афинах установилось правление тридцати тиранов (см. прим. 2), Трасибул был изгнан и бежал в Фивы, где стал копить силы для борьбы с тиранией. Осенью 404 г. до нашей эры Трасибул со своим отрядом занял Пирей, свергнул правительство тридцати и восстановил прежнее демократическое государственное устройство.

<sup>20</sup> *Брут Старший*. Луций Юний Брут, по римской легенде,—вождь восстания, низвергнувшего тиранию последнего римского царя Тарквния Гордого и учредившего республику с двумя консулами (509 г. до нашей эры). В качестве одного из этих выборных консультов народившейся республики Бруту пришлось осудить на смерть двух своих сыновей, участвовавших в заговоре, который ставил себе целью возвращение Тарквния.

<sup>21</sup> *Валерий*. Валерий Публий Поппикола, по античной традиции,—римский консул, избранный в первый год республики (509 г. до нашей эры). Ему приписывается проведение закона, согласно которому всякий гражданин в пределах города имел право апеллировать на решение консула перед народным собранием. В знак того, что верховная власть принадлежит народу, а не консулу, Валерий, как гласит предание, приказал, чтобы ликторы, шедшие впереди него в городе, носили только пучки тростника, без секиры, и, чтобы отклонить от себя всякие подозрения в стремлении к тирании, велел срыть свой дом, напоминавший по постройке дворец. За свою любовь к народу получил прозвище Поппиколы (т. е. друга народа). Умер в 503 г. (см. Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. I, вып. III. Валерий Поппикола. СПб., 1891, стр. 284—317).

<sup>22</sup> *Дион*. Дион Сицилийский (ок. 410—353 гг. до нашей эры), ученик и друг Платона, прославился своим покровительством Платону и походом на Сиракузы

в 357 г., когда Сицилия была освобождена от тирании Дионисия младшего (см. жизнеописание Диона, составленное Плутархом).

<sup>23</sup> *Брут Младший и Кассий успешно положили конец рабству.* Марк Юний Брут (85—42 г. до нашей эры) вместе с видным полководцем Кассием — вожди заговора против Юлия Цезаря, заговора, в котором приняли участие многие другие римские вельможи, недовольные стремлением Цезаря к царской власти. После убийства Цезаря (44 г.) Брут вынужден был покинуть Рим и отправиться на Восток, где вместе с Кассием собрал большую армию для борьбы с новыми узурпаторами — Антонием и Октавианом. Брут пытался поднять восстания в Малой Азии и на Балканском полуострове, но был разбит Октавием и Антонием в битве при Филиппах (в Македонии) и бросился на собственный меч. Несколько днями раньше покончил с собой и Кассий.

Брут, считавший себя потомком полулегендарного Брута (см. прим. 20), изгнавшего из Рима Тарквиниев, часто изображался в литературе как образец республиканской доблести. Однако в действительности он был характерным представителем аристократического класса, понимавшего под республиканской свободой свою неограниченную власть над Римом и провинциями.

<sup>24</sup> *Знанием этого я крайне обязан великому отцу медицины Гиппократу, обратившему на это внимание и соответственно трактавшему это явление в своей книге «О болезнях».* Гиппократ (460—367 гг. до нашей эры) — великий мастер врачебного искусства эпохи расцвета эллинской культуры. Происходил с острова Коса. Принадлежал к роду Асклепиадов и имел ближайшими предками врачей. Был одним из замечательных мыслителей и естествоиспытателей своего времени. Своими новаторскими идеями в медицине Гиппократ намного опередил свой век. Так, например, характерна для Гиппократа попытка рассматривать физическую и психическую конституцию человека в зависимости от климатических условий — от расположения данной местности, режима ветров, осадков, воды, почвы и т. д., а также в зависимости от законов и обычаяев данной страны.

Еще Платон высоко ценил Гиппократа как врача с философским уклоном. Ла Боэси ошибочно называет здесь книгу «О болезнях», между тем как приводимые им мысли содержатся в произведении Гиппократа «О воздухах, водах и местностях».

Вот что мы читаем в соответствующих местах этого сочинения, которые использует Ла Боэси:

«...Большая часть Азии управляемася властью царей. А там, где люди сами над собой не властны и не независимы, а подчинены владыке, забота у них не о том, чтобы упражняться в военных делах, а чтобы казаться неспособными к войне. И в самом деле, опасности не одинаковы. Ведь подданным необходимо отправляться за своих господ на войну и переносить труды и смерть вдали от детей, жен и остальных друзей. И как бы ни были хороши и мужественны их дела, господа от них возвеличиваются и возрастают, сами же они, кроме опасностей и

смерти, ничего не пожинают. При этом по необходимости земля у таких людей остается необработанной как по причине нашествия врагов, так и вследствие беспечности их самих; так что даже если кто по природе будет храбрым и мужественным, законы отвратят его от этого. Великим доказательством этого служит то, что все те греки и варвары Азии, которые вовсе не подчинены государям, а свободны и трудятся сами для себя, являются воинственнейшими из всех, ибо они подвергаются опасностям для самих себя и как получают награду за храбрость, так несут наказание за трусость».

«...Жители Европы более воинственны также благодаря своим законам, потому что не повинуются власти царей, как азиаты. Где подчиняются царям, там необходимо людям быть самыми боязливыми, о чем сказано нами прежде, ибо души, попадая в рабство, не желают добровольно подвергать себя опасности за чужую власть по-напрасному. *А* которые живут по своим законам, те подвергаются опасностям для себя, а не для других, и они охотно, по своей воле, идут навстречу опасности, так как награду за победу получают сами» (Гиппократ Избранные книги. М., 1936, стр. 296, 303; подчеркнуто мной.—Ф. К.-Б.).

<sup>25</sup> когда великий царь хотел привлечь его к себе щедрыми дарами и обещаниями. Имеется в виду персидский царь Артаксеркс II (около 404—359 гг. до нашей эры).

Сообщаемый Ла Боэси рассказ о Гиппократе лишний раз свидетельствует об основательном знании им источников. Упоминаемая в тексте переписка по поводу приглашения Гиппократа и его отказ содержатся в заключительной части Сборника Гиппократа.

Приводим эти письма:

«Царь царей, великий Артаксеркс, Гистану, правителю Геллеспонта, привет.

Слава искусства Гиппократа, врача из Коса, потомка Асклепия, дошла и до меня. Итак, дай ему золота, сколько он захочет, и остальное в изобилии, в чем он нуждается, и пошли его к нам; он будет равен в чести с первыми персами...»

«Гистан, правитель Геллеспонта, Гиппократу, потомку Асклепия, привет.

Великий царь Артаксеркс, нуждаясь в тебе, прислал к нам начальников, приказывая дать тебе серебра, золота и все остальное, в чем ты нуждаешься, в изобилии и столько, сколько ты хочешь, и послать тебя поспешно к нему; ты будешь в чести с первыми из персов. Явись поэтому как можно скорей. Будь здоров».

«Гиппократ, врач, Гистану, правителю Геллеспонта, привет.

На письмо, которое ты мне прислал, говоря, что оно пришло от царя, напиши царю то, что я говорю, как можно скорее: пищей, и одеждой, и жилищем, и всем тем, что необходимо для жизни, мы пользуемся; пользоваться же богатством персов для меня непозволительно, так же как избавлять от болезней варваров, которые являются врагами Греции. Будь здоров» (Гиппократ. Сочинения, т. III, М.—Л., 1941, стр. 312—313).

Как в древности, так и в XVI в. эти письма — как и ряд других писем и рецей Гиппократа — считались подлинными и использовались в качестве бесспорных исторических источников. Апокрифический характер их раскрыт был в XIX в.

<sup>26</sup> Ксенофонт (ок. 430—359 гг. до нашей эры). Древнегреческий историк и философ. Ла Бёси имеет в виду юношеское дидактическое произведение Ксенофonta «Гиерон, или портрет поведения тиранов» — диалог между поэтом Симонидом и сиракузским тираном Гиероном старшим (478—467 гг. до нашей эры) о преимуществах жизни частного лица по сравнению с полной постоянных тревог и опасностей жизнью тирана и о способах сделать государство счастливым. Гиерон красноречиво излагает в этом диалоге, как мучительна жизнь тирана, он описывает терзающие его непрерывные страхи и опасения, свое одиночество и сознание, что он никем не любим. Даже если бы он отказался от власти, говорит Гиерон, то его жизнь всегда была бы в опасности от множества врагов, которых он себе создал. Симонид советует Гиерону изменить методы управления и попробовать привить с помощью доблести и великолюдия.

<sup>27</sup> великий африканец Сципион. Публий Корнелий Старший (ск. 235—183 гг. до нашей эры), прославленный римский полководец, отвоевавший у карфагенян Испанию и перенесший затем войну в Африку. Это заставило Аннибала покинуть Италию и привело к поражению, нанесенному ему Сципионом.

<sup>28</sup> слова Теренция, вложенные им в уста Фрасона. Имеется в виду комедия «Евнух», акт III, сцена 1 (Теренций. Комедии. М., 1934, стр. 264).

<sup>29</sup> что сделал Кир, ... захватив столицу Лидии Сарды. Кир (умер в 528 г. до нашей эры) — основатель персидской монархии. Сын подвластного Лидии персидского князька, Кир в 559 г., опираясь на персов, подчинил себе Лидию. Позже, в 546 г., напал на царя Лидии Креза, прежде чем тот успел собрать войска, и вытеснил Креза из его столицы Сард. Вся эта история покорения Киром Лидии и взятия им в плен Креза рассказываетя у Геродота в книж. I, гл. 86. (см. Геродот. История в девяти книгах, т. I, М., 1888).

<sup>30</sup> модий. Древнеримская мера сыпучих тел, равная 8,7 литра.

<sup>31</sup> сектарий. Древнеримская мера жидкостей, равная 0,5 литра.

<sup>32</sup> сестерций. Древнеримская монета; ее стали чеканить с 269 г. до нашей эры. Стоила около 10 копеек золотом, но стоимость ее менялась. Сначала ее чеканили из серебра, позже — из меди.

<sup>33</sup> Тиберий. Римский император, пасынок Августа, правивший с 14 по 37 г. нашей эры.

<sup>34</sup> Нерон. Тиберий Клавдий Нерон — римский император, правнук Августа. См. также прим. 52.

<sup>35</sup> Корнелий Тацит (ок. 55—120 гг. нашей эры). Один из лучших представителей римской историографии, которого Ф. Энгельс называет последним представителем староримского патрицианского образа мыслей (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. XV, стр. 606). Отрицательное отношение к абсолютной

монархии красной нитью проходит через все сочинения Тацита. Тацит испытал на себе тяжесть правления Домициана (см. прим. 57), и образ императора-тирана был им перенесен в прошлое. Это отразилось, в частности, на суждениях Тацита о Тиберии и Нероне, о которых говорится в тексте. Ла Бёси имеет в виду описание Тацита в его «Историях», повествовавших о событиях ранней Римской империи за период с 69 по 96 г., т. е. со времени смерти Нерона и до вступления на престол императора Нервы (см. К. Тацит. Сочинения, т. I. История, кн. I, гл. 4. СПб., 1886, стр. 70—71).

<sup>36</sup> *воздвиг ему колонну как «Отцу народа».* Ла Бёси имеет в виду рассказ римского историка Светония (см. Г. Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. Жизнь Цезаря. § 84—88. М., 1933, стр. 101).

<sup>37</sup> *Пирр* (319—272 гг. до нашей эры). Эпирский царь, один из крупных полководцев древности. В 281 г. принял предложение жителей Тарента оказать им помошь в борьбе с Римом. Пирр мечтал о создании сильной державы в Италии, но мечты эти потерпели крушение после того, как Пирр, ценюю огромных потерь, одержал над римлянами победу в Аускуле, в Апулии («пиррова победа»). В дальнейшем Пирр был разбит римлянами. Он вынужден был оставить Италию и вернуться в Эпир, где вскоре погиб в борьбе с македонянами. Легенда о способности Пирра излечивать от болезней селезенки, о чем говорится в тексте, рассказана Плутархом в биографии Пирра (см. Плутарх. Жизнь знаменитых людей, ч. II. СПб., 1816, стр. 204).

<sup>38</sup> *Веспасиан.* Тит Флавий Веспасиан — римский император, правивший с 69 по 79 г. Выходец из средних итальянских слоев, Веспасиан обязан был избранием в императоры своим солдатам. Предоставив командование армией своему сыну Титу, победоносно завершившему Иудейскую войну, Веспасиан, будучи провозглашен императором, направился в Рим. Об этом и говорится в тексте. Рассказ же о чудесных исцелениях, произведенных Веспасианом, принадлежит Светонию. Светоний наряду с этим сообщает и об ироническом отношении Веспасиана к религиозному освящению императорской власти. «Увы, я, кажется, становлюсь богом», — сказал Веспасиан, почувствовав приближение смерти и имея в виду ожидавшее его обожествление (см. Г. Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. Жизнь Веспасиана, гл. VII, стр. 488).

<sup>39</sup> *Если верить пророчице Вергилия Сивилле, спустившейся с Энеем в подземное царство.* Сивилла — пророчица, жрица Аполлона и Гекаты; по преданию, еще до установления республики в Риме появились так называемые Сивиллины книги, составление которых приписывалось пророчице Сивилле Куманской. Эти книги содержали различные греческие оракулы, и к ним обращались в исключительно важных случаях.

Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до нашей эры). Крупнейший римский поэт эпохи Августа, начавший свое поэтическое творчество еще в бурный период гражданских войн. Эти события — конец республики и начало империи,

сопровождавшиеся гражданской войной, проскрипциями, реквизициями земель и т. д., нашли отражение в том произведении Вергилия, которое стяжало ему славу в веках, в его «Энеиде» (особенно во 2-й песне). «Энеида», созданная по образцу величайших греческих поэм «Илиады» и «Одиссеи», названа так по имени легендарного предка римского народа Энея, главного героя поэмы. Основной смысл этой героической поэмы — возвеличение римской державы и императора Августа, идеализированным прообразом которого является Эней.

С самого своего появления «Энеида» была признана произведением классическим: все эпики подражали ей как непререкаемому образцу. Особенно велика была ее популярность в средние века, когда Вергилий приобрел славу пророка и чародея. Данте избрал Вергилия своим проводником по Аду. Вергилий оказал могучее воздействие на французскую поэзию: «Энеида» был излюбленным произведением французского Возрождения и в качестве классической героической поэмы служила поэтам «Плеяды» с Ронсаром во главе (см. прим. 44) образцом для подражания.

В тексте имеется в виду 6-я песнь «Энеиды», изображающая подземное царство, где Эней удостаивается встречи со своим отцом Анхизом, пророчествующим о славном будущем могущественного римского государства, которое суждено основать потомкам Энея.

<sup>10</sup> Салмоней. В греческой мифологии Салмоней — сын Эола и родоначальник «эолийцев». Греческая легенда изображает его гордецом и богохульником, желавшим сравняться с Зевсом. Салмоней вздумал стать таким же громовержцем, как и Зевс. Он разъезжал в колеснице, подражая грому и молнии посредством звука металлических листов и метания зажженных факелов. В наказание за это высокомерие Зевс поразил его молнией и низверг в ад, тартар.

<sup>11</sup> Юпитер. Верховное римское божество, отец богов. В римском пантеоне Юпитер соответствовал Зевсу.

<sup>42</sup> Зрела и те, что даны Салмонею, страшные казни. См. Вергилий. Энеида, кн. VI, строки 585—594. М., 1933, стр. 173.

<sup>43</sup> во Франции в этих же целях пользовались лягушками, орифламмой, цветами лилии, сосудом со священным елеем. Все это — особые отличительные знаки, присвоенные французским королям. Изображение лилии — общеизвестный геральдический знак французских королей с XII в. В более ранние времена, при франкских королях, эмблемой были лягушки (иногда пчелы). Сосуд со священным елеем — атрапше — служил для хранения священного елея, предназначавшегося для помазанья французских королей. Орифламма, или золотая хоругвь, — небольшое знамя французских королей, бывшее первоначально запрестольной хоругвью церкви Сен-Дени. Французский король Филипп I (XI в.) взял ее из Сен-Дени. Фон этого знамени был красный, усеянный звездами, окружавшими пылающее солнце. Орифламма была главнейшим воинским знаменем французских королевских войск.

Ее носил почетный знаменоносец, и поднимали ее на копье только в момент боя; в другое время знаменоносец имел орнамент на себе.

<sup>44</sup> нашим Ронсаром, нашим Баифом, нашим Дюбelle. Три виднейших представителя французской поэтической школы XVI в. «Плеяды» (группы, состоявшей из семи поэтов и названной так по созвездию Плеяды). Говоря об успехах, которыми им обязан французский язык, Ла Боэси имеет прежде всего в виду написанную Иоахимом Дюбelle совместно с Ронсаром в 1548 г. «Защиту и прославление французского языка», являвшуюся литературным манифестом «Плеяды» в основу которого положено было возвеличение французского национального языка.

<sup>45</sup> прекрасных сказаний о короле Хлодвиге, которыми..., будет наслаждаться муза нашего Ронсара в его «Франсиаде». Король Хлодвиг (465—511) — первый король франков, основатель династии Меровингов, имя которого в целях возвеличения королевской власти окружено было всякими легендами и преданиями. Во «Франсиаде» Ронсар (1524—1585) предпринял попытку создать французскую героическую эпопею, наподобие «Илиады» и «Энеиды» (см. прим. 39). Попытка эта оказалась неудачной; Ронсар готовил свою поэму свыше двадцати лет, и тем не менее «Франсиада», названная так по имени ее главного героя Франка, осталась неоконченной. В 1550 г. пролог ее читался перед французским королем Генрихом II (подобно тому как в свое время Вергилий читал части своей «Энеиды» перед Августом). Только в 1572 г., вскоре после Варфоломеевской ночи, была издана часть «Франсиады» — пролог и четыре песни из задуманных 24, но дальше этого дело так и не пошло. В поэме повествуется о том, как сыну Гектора Франку, чудом спасшемуся после гибели Трои, было открыто славное будущее Франции. Ему чудится, как перед ним проходит вереница ведущих от него свое происхождение французских королей, вплоть до Карла Великого. «Франсиада» имела целью воспеть высокое происхождение французского народа, освящая в глазах современников авторитетом классической древности патриотическое представление о достоинстве французской нации.

Отзывы Ла Боэси о важнейших участниках «Плеяды» овидетельствуют о его близких отношениях с виднейшими поэтами, его современниками.

<sup>46</sup> Шитами, упавшими с неба. См. Вергилий. Энеида, песнь восьмая, строка 664. М., 1933, стр. 221.

<sup>47</sup> афиняне использовали корзины Эрехтея. Ла Боэси имеет в виду древнее аттическое празднество в честь богини Афины-Полиады (городской, именем которой были названы Афины) и главного героя местной аттической мифологии Эрехтея, легендарного предка афинян. По Гомеру, Эрехтей — сын, рожденный Землей и воспитанный Афиной в ее храме (см. «Илиада», книга вторая, стихи 546—550); по позднейшему преданию, Эрехтей — афинский царь. Празднество это носило название панафиний иправлялось с большой пышностью. Существовали

малые панафинеи, праздновавшиеся ежегодно, и великие панафинеи, справлявшиеся лишь раз в четыре года. В великие панафинеи входили состязания певцов-рэпсодов и поэтов, музыкальные и гимнастические состязания и ристания на колесницах. На панафинеи стекались большие массы народа со всех сторон Аттики и из других областей Греции. Главный обряд праздника — принесение богине нового покрывала, которое надевалось на статую Афины, — совершался в последний день празднества, когда устраивалась торжественная процессия к храму Афины. В этой процессии, в числе множества других участников, которые несли в руках оливковые ветви, были и девушки с корзинами на головах (канефоры — «носительницы корзин»); этой чести удостаивались только девушки из знатнейших семейств.

<sup>18</sup> Минерва. У греков — Афина. В Афинах на Акрополе богиня имела несколько в разное время построенных храмов. В тексте имеется в виду совместный храм Эрехтея и Афины, знаменитый Эрехтейон, возобновленный в эпоху Пелопоннесской войны, к которому приурочена была память о споре между Афиной и Посейдоном за обладание Аттикой. В нем хранилось легендарное, взращенное Афиной, оливковое дерево — «всесогбенная маслина».

<sup>19</sup> Юпитер, который хвастал, что если он потянет за цепь. См. Гомер. Илиада, песнь восьмая, стихи 20—27. М.—Л., 1949, стр. 164.

<sup>50</sup> Этим объясняется расширение сената при Юлии Цезаре. Имеется в виду произведенная Цезарем реорганизация сената, число членов которого было сильно увеличено. Цезарь ввел в состав сената значительное число своих офицеров, ибо армия была его важнейшей опорой, и даже бывших вольноотпущенников. Было также увеличено число различных магistrатов. Благодаря этому, большему количеству обязанных Цезарю лиц предоставлялась возможность делать служебную карьеру.

<sup>51</sup> киликийские пираты... собирались в такие крупные отряды, что против них пришлось направить Помпея великого. Имеется в виду борьба Помпея с пиратством, принявшим огромные размеры, на Средиземном море. Пираты составляли как бы особое государство; опорными пунктами их были приморские города Киликии и острова Кипра. Пираты наносили огромный ущерб римской торговле, они задерживали хлебные грузы, шедшие в Италию, и в Риме сильно поднялись цены на хлеб. Чтобы покончить с угрожавшим развитию торговли положением, сенат в 67 г. до нашей эры вручил Помпею диктаторскую власть на всем побережье Средиземного моря, на расстоянии 10 тыс. шагов от берега. Помпей получил деньги, большое войско и флот для ведения борьбы с пиратами и, проведя энергичную кампанию, справился с возложенным на него поручением. Он разорил укрепления пиратов, истребил их суда, отобрал у них оружие и жестоко расправился с самими пиратами (см. также Плутарх. Жизнь знаменитых людей. Помпей, стр. 166—167).

<sup>52</sup> Примером этого могут служить Сенека, Бурр, Траяна. Луций Аний Сенека (ок. 4 г. до нашей эры — 65 г. нашей эры) — римский философ — стоик.

В статье «Бруно Бауэр и раннее христианство» Энгельс дает Сенеке следующую характеристику: «Этот стоик, проповедывавший добродетель и воздержание, был первым интриганом при дворе Нерона, причем дело не обходилось без пресмыкальства; он добивался от Нерона подарков деньгами, имениями, садами, дворцами и, проповедуя бедность евангельского Лазаря, сам-то в действительности был богачом из той же притчи» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., т. XV, стр. 607).

Еще в правление Тиберия (см. прим. 33) Сенека получил доступ ко дворцу и был назначен квестором. При императоре Клавдии (41—54) Сенека был отправлен на 8 лет в ссылку на остров Корсику, что приписывалось проискам первой жены Клавдия Мессалины. Благодаря заступничеству второй жены Клавдия Агриппины, пользовавшейся большим влиянием на государственные дела. Сенека былозвращен в Рим, и ему доверено было воспитание 11-летнего сына Агриппины Нерона.

В первые годы правления (54—68 гг.) Нерон находился под влиянием своих наставников — Сенеки и префекта претория Секста Афрания Бурра, имевших поддержку в сенате и являвшихся ближайшими советниками Нерона. Они всячески старались освободить императора из-под влияния его матери Агриппины и установить добрые отношения Нерона с сенатом. В дальнейшем Агриппина потеряла свое прежнее значение при дворе и в 59 г. была умерщвлена подосланными убийцами. Воспитатели Нерона Сенека и Бурр оправдали это убийство, а Сенека даже составил особую докладную записку, в которой перечислял преступления Агриппины по отношению к Нерону и приписывал ей замысел заговора на жизнь императора. По словам Тацит, сенат, в своем усердии выразить сочувствие Нерону, назначил благодарственное молебствие и принял решение поставить в курии, рядом со статуей Минервы, статую императора, а день рождения Агриппины считать в числе несчастных дней. Упоминаемый в тексте Траяна Пет, в отличие от Сенеки и Бурра, осудил убийство Агриппины и во время принятия этих решений покинул сенат, чем, как говорит Тацит, «создал причину своей гибели».

В 62 г. умер Бурр, который, как подозревали, был отравлен, а Сенеке пришлось отойти от двора и удалиться в частную жизнь. Недовольство сенаторского сословия преследованиями знати, в основе которых лежала не просто жестокость Нерона (как это объясняет Тацит), а борьба со знатью как главным препятствием на пути к укреплению императорской власти, нашло свое наиболее яркое выражение в организованном против Нерона заговоре Пизона (65 г.). В нем принимали участие виднейшие сенаторы. Когда заговор был раскрыт, то Сенеке и Траяну Пету поставили в вину причастность к нему. Заговорщики были преданы казни. Сенека по приказанию Нерона покончил с собой; приговоренный к смерти Траяна Пет вскрыл себе вены.

При объяснении указанных событий Ла Боэси исходит только из личных качеств императора и не видит подлинной подоплеки всего процесса обострения отношений с сенаторской знатью императоров Юлиев-Клавдиев, заключавшейся в их неуклонном стремлении к укреплению шедшей к абсолютизму императорской власти. Ла Боэси опирается при таком освещении событий главным образом на Тацита, этого идеолога гибнущей римской аристократии, и следующего за ним в данном случае Светония (см. Тацит. Летописи, т. II, кн. XIV, гл. 12, 1887).

<sup>53</sup> *Поппея*. Имеется в виду вторая жена Нерона Поппея Сабина (ум. в 65 г.), по преданию убитая им. Согласно Светонию, Нерон убил ее ударом ноги (см. Г. Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. М., 1933, стр. 401; Тацит. Летописи, кн. XVI, гл. 6).

<sup>54</sup> *Мать его Агриппина*. Имеется в виду Агриппина младшая (около 15—60 гг. нашей эры), жена императора Клавдия и мать Нерона (см. прим. 52). Она обвинялась в отравлении своего мужа, императора Клавдия, и была убита по приказанию своего сына Нерона. Ла Боэси опирается на сообщения Светония (Нерон, гл. 34) и Тацита (Летописи, кн. XII, гл. 67).

<sup>55</sup> *Мессалина*. Третья жена императора Клавдия, известная своим распутством. С ее именем связан ряд скандальных придворных историй, последней из которых было ее решение отпраздновать в отсутствие Клавдия торжественное бракосочетание с одним молодым сенатором, метившим в императоры. Раскрытие этого скандала послужило причиной гибели Мессалины. По приказанию Клавдия, Мессалина и ее сообщники, обвиненные в попытке государственного переворота, покончили жизнь самоубийством. Источниками Ла Боэси и в данном случае являются Тацит и Светоний (см. Г. Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. Божественный Клавдий, гл. 26 и 29; Тацит. Летописи, кн. XI, гл. 37 и 38).

<sup>56</sup> *замечательное изречение другого тирана*. Имеется в виду император Калигула, правивший с 37 по 41 г. и павший жертвой дворцового переворота (приводимое изречение см. г. Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. М., 1933, стр. 294).

<sup>57</sup> *Домициан*. Тит Флавий Домициан — император из дома Флавиев, правивший с 81 г. Своей абсолютистской политикой и преследованиями сенаторской аристократии вызвал сильнейшую оппозицию со стороны последней. Был убит в результате заговора, организованного сенатом (96 г.) (см. Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Домициан, гл. 17).

<sup>58</sup> *Коммод*. Римский император, сын Марка Аврелия и последний представитель династии Антонинов, правление которого (с 180 по 192 г.) ознаменовано было усилением абсолютистских тенденций. Был убит в результате заговора, в котором приняла участие его наложница Марция.

<sup>59</sup> *Антонин*. Имеется в виду Марк Аврелий Антонин, прозванный Каракалой, римский император, правивший с 211 по 217 г. Пал жертвой заговора, орга-

низованного префектом претория Марком Аврелием *Макрином*, которого солдаты провозгласили императором. Через год (218) Макрин был в свою очередь низложен и убит.

<sup>60</sup> как рассказывается в басне. См. Езоповы басни. СПб., 1815. Басня 53. Большой лев и лисица, стр. 192—193; ср. также Гораций. Полное собр. соч. Пoслания. М.—Л., 1936, стр. 287.

<sup>61</sup> Это напоминает безрассудного сатира. Задимствовано из сочинения Плутарха «Как можно извлечь пользу из своих врагов», во французском переводе Амио (см. Plutarque. Comment on pourra recevoir utilité des ses ennemis. Traduit du grec par J. Amyot, стр. 2).

<sup>62</sup> мотылька, который... по словам тосканского поэта... Имеется в виду сонет Петrarки (см. Petrarca. Canzoniere, sonetto XV).

<sup>63</sup> этих пожирателей народа. «Царь пожиратель народа» — такова знаменитая квалификация царя у Гомера (см. Гомер. Илиада, песнь первая, строка 231. М.—Л., 1935, стр. 119).

*ОТРЫВОК ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ  
«РАССУЖДЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ РАБСТВЕ» (ВАРИАНТ)*

<sup>1</sup> Отрывок, напечатанный во французском издании «*Le Réveille-Matin des François*».

Спустя полгода после избиения гугенотов в Варфоломеевскую ночь одновременно вышли в свет два боевых политических памфлета, являвшихся ответом на эти события. Один — на латинском языке под названием: «*Dialogus quo multa exponuntur quae Lutheranis et Hugonotis Gallis acciderant. Nonnulla item scitu digna et salutaria consilia adjecta sunt*». *Oragniae excudebat Adamus de Monte, 1573*; другой — на французском языке под названием: «*Dialogue auquel sont traitées plusieurs choses advenues aux Lutheriens et Huguenots de la France, ensemble certains points et avis nécessaires d'être scus et suivis*». Basle, 1573; в конце последнего отмечено было: «Закончен печатанием на двенадцатый день второго полутодия после предательства» (имеется в виду Варфоломеевская резня.—Ф. К.-Б.). Таков был первый вариант противоправительственного сборника «*Le Réveille-Matin des François*».

В следующем, 1574 г. были изданы на латинском языке два диалога: «*Dialogi ab Eusebio Philadelpho Cosmopolita in Gallorum et caeterarum nationum gratiam compositi, quorum primus ab ipso auctore recognitus et auctus, alter vero in lucem nunc primum editus fuit*». Edimburgi, ex typographia Jacobi Jamaei, 1574,— составившие содержание латинского издания сборника «*Le Réveille-Matin des François*». В конце второго из этих диалогов — «*Dialogus secundus, ab Eusebio Philadelpho Cosmopolita in Gallorum et vicinarum gentium...*» было напечатано довольно большое

извлечение из «Рассуждения о добровольном рабстве», без всяких указаний на то, что это отрывок из другого произведения, и без всякого упоминания имени автора. В таком виде впервые была опубликована часть рукописи *Ла Боэси*.

Извлечение из «Рассуждения о добровольном рабстве» занимает страницы 128—134 второго диалога. Этот отрывок отличался от текста *Ла Боэси* весьма незначительными изменениями. Самыми существенными из них были следующие. В абзаце, начинающемся словами: «Но кто, кроме очевидца, поверил бы когдалибо в то, что ежедневно совершается на наших глазах», было вставлено: «в нашей Франко-Галлии» с целью создать впечатление, что дело идет о положении во Франции в разгар так называемых религиозных войн (термин «Франко-Галлия» для обозначения Франции был широко распространен во французской публицистике второй половины XVI в., особенно после выхода в 1573 г. известного памфлета Франсуа Отмана «Франко-Галлия»). С этой же целью в другом абзаце, где у *Ла Боэси* говорится: «Народы, закосневшие в своем зле и слепые к своему благу», вместо этих слов было вставлено: «О нация, упрямо идущая к своей гибели».

Что же представлял собой сборник *«Le Réveille-Matin des François»?*

Это было одно из первых произведений обширнейшей и часто блестящей литературы политических памфлетов, возникшей в ответ на Варфоломеевскую резню. В этом боевом политическом произведении разоблачалась полная негодность короля и всего королевского дома и перечислялись их крупнейшие злодеяния; заканчивалось оно призывом к борьбе с правящей династией всеми средствами, вплоть до убийства вероломного короля-убийцы, превратившегося в тирана.

Приводимый отрывок, так же как и напечатанный в латинском издании того же сборника, вставлен в конец второго диалога. Литературное обрамление диалога таково. Участниками его являются Историограф, служитель истины, олицетворяющий беспристрастие историка, и Политик, умеренный католик, человек с большим политическим опытом, весьма осведомленный во всем, что происходит в ближайшем окружении короля, в важнейших политических интригах и тайных замыслах. Оба они (обращенные в конце первого диалога в протестантизм) возвращаются из поездки по Европе и случайно сталкиваются в гостинице. В завязавшейся беседе друзья спешат поделиться всем, что им пришлось увидеть в посещенных ими странах. Целью их поездки было добиться помощи иностранных протестантских государей. Среди прочих политических тем всплывает разговор о приближенных короля, о приспешниках тирана. Так, не без известного искусства, в ткань чужого произведения вплетается отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве».

Перевод сделан с экземпляра, хранящегося в Ленинграде, в Государственной Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Титульный лист этого издания см. стр. 47.

<sup>2</sup> Если бы покойный господин Адмирал знал эту басню. Имеется в виду адмирал Гаспар Колиньи (1519—1572), один из виднейших вождей гугенотов, убитый в Варфоломеевскую ночь. Относительно басни «Больной лев и лисица» см. прим. 60 на стр. 185.

<sup>3</sup> что касается этих приспешников тирана. С этих слов начинается отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве» со многими отступлениями от основного текста.

<sup>4</sup> Точно так же безрассудный сатир. См. прим. 61 на стр. 185.

<sup>5</sup> Так мотылек, желая насладиться каким-нибудь большим удовольствием. См. прим. 62 на стр. 185.

<sup>6</sup> самым счастливым из... государств является то, в котором, по выражению Платона, государи-философы или философы управляют государством. Имеется в виду то идеальное государство, которое нарисовал Платон в своей утопии «Политейя», или «Республика», и во главе которого стояли философы. Им вверяется управление государством, так как только они, с точки зрения Платона, обладают разумом, способным подняться до истинного знания. Весь этот абзац представляет собой вставку.

<sup>7</sup> Большое счастье быть подданным хорошего государя... который в качестве гаранции.. имеет известное число генеральных штатов и парламентов. Развитие абсолютной монархии во Франции в XVI в. сопровождалось упадком роли генеральных штатов, которые короли почти перестали созывать, и всяческими ущемлениями парламентов, являвшихся некоторым препятствием для всевластия короля. Поэтому все социальные элементы, недовольные ростом королевского абсолютизма, выставляли на своем знамени требование — восстановление деятельности генеральных штатов и расширение полномочий парламентов, призванных служить защитой и гарантией против королевского самовластия.

<sup>8</sup> Поэтому большое несчастье находиться в порабощении у тирана, вероломного убийцы. Chasseur desloyal — вероломным убийцей называли Карла IX гугеноты со временем Варфоломеевской резни. Этот абзац также вставлен автором сборника.

<sup>9</sup> Эта тема сейчас весьма своевременна. Тема о прерогативах королевской власти, о ее перерождении в тиранию, о народе и о правах и взаимных обязанностях короля и народа — была злободневнейшим вопросом, не сходившим со страниц французской публицистики второй половины XVI в.

<sup>10</sup> не буду говорить об этом в духе гугенотов. Столь решительное отмежевание от гугенотов было политической маскировкой с целью отвести подозрения в гугенотских убеждениях автора памфлета. Оно должно было также — как это видно из дальнейшего текста — способствовать налаживанию единого фронта всех оппозиционных элементов, «чтобы всем сообща решить, как помочь... беде», см. стр. 48

<sup>11</sup> (как это было с Афинами при тридцати тиранах). См. прим. 2 на стр. 171.

<sup>12</sup> В столь прославленных сражениях Мильтиада и Фемистокла. См. прим. 3. на стр. 171—172.

<sup>13</sup> нашей Франции. Эти слова вставлены, чтобы создать впечатление, будто все предыдущее рассуждение написано применительно к политической обстановке во Франции периода Варфоломеевской резни

<sup>14</sup> Имея возможность жить под властью хороших законов и под покровительством штатов. Вся эта фраза вставлена и представляет собой идеализацию старых политических порядков Франции в духе гугенотских программ.

<sup>15</sup> Бедные, несчастные французы! У Ла Боэси: «Бедные, несчастные и неразумные народы».

<sup>16</sup> Преимущество, которое он имеет перед вами, это — только вероломство и предательство. Этих слов у Ла Боэси нет. У него сказано: «за исключением лишь того преимущества, которое вы сами ему предоставляете,— истреблять вас», ср. стр. 13.

<sup>17</sup> палачами веры ваших сограждан. Имеются в виду преследования гугенотов. Этих слов у Ла Боэси нет.

#### ОТРЫВОК ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ В ПЕРЕВОДЕ Л. Н. ТОЛСТОГО, ПОМЕЩЕННЫЙ В ЕГО КНИГЕ «КРУГ ЧТЕНИЯ», Т. I

<sup>1</sup> Отрывок в переводе Л. Н. Толстого. Приводимый отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве» был впервые переведен Л. Н. Толстым и вместе с написанной им биографической справкой о Ла Боэси помещен в томе I «Круга чтения» (М., изд-во «Посредник», 1906, стр. 496—504). Корректур «Круга чтения», тщательно правившихся Л. Н. Толстым, в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого нет. Зато имеется автограф еще неопубликованного письма Толстого о поправках к переводу из Ла Боэси Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову (см. Архив Г. П. Ильиной. 3077), цитируемый нами на стр. 103.

Горбунов-Посадов (1864—1940) — один из друзей и единомышленников Л. Н. Толстого; с 1887 г. работал в книгоиздательстве «Посредник», издававшем произведения Толстого и близких ему авторов; с 1897 г.— редактор этого издательства.

Перевод Толстого сделан с издания Парижской Национальной библиотеки 1901 г. (E. de la Boétie. Discours de la servitude volontaire. Préface par A. Vermorel et suivi des lettres de Montaigne relatives à La Boétie. Paris. Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1901, IV + 191 стр., in 16°). Титульный лист его см. стр. 113. Экземпляр, которым пользовался Л. Н. Толстой, с его отчеркиваниями разными карандашами — синим, красным и черным, хранится в Яснополянской библиотеке музея-усадьбы Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой опустил в своем переводе имеющиеся у Ла Боэси многочисленные примеры из античности и в ряде случаев выпустил отдельные слова и неко-

торые предложения полностью. Толстой делал это крайне бережно и счел необходимым объяснить читателям свой образ действий. В предисловии к «Кругу чтения» Л. Н. Толстой писал по этому поводу: «Часто я переводил мысли авторов не с подлинников, а с переводов на другие языки, и потому переводы мои могут оказаться не вполне верны подлинникам. Другая причина, по которой мысли эти могут не вполне соответствовать подлинникам, в том, что, выбирая часто отдельные мысли... я должен был для ясности и цельности впечатления, выпускать некоторые слова и предложения и иногда, хотя и очень редко, заменять одни слова другими. Надеюсь, что читатели извинят меня... за некоторую неточность перевода... в виду того, что цель моей книги состоит не в том, чтобы дать точные словесные переводы писателей, а в том, чтобы, воспользовавшись великими и плодотворными мыслями разных писателей, дать большому числу читателей ежедневный круг чтения, возбуждающего лучшие мысли и лучшие чувства» (Л. Н. Толстой. Круг чтения, т. I. М., «Посредник», 1906, стр. 3—4).

#### ОТРЫВОК ИЗ ТРАКТАТА ЛА БОЭСИ В ПЕРЕВОДЕ Л. Н. ТОЛСТОГО, ОПУБЛИКОВАННЫЙ ВМЕСТЕ С ЕГО СТАТЬЕЙ «ПАТРИОТИЗМ И ПРАВИТЕЛЬСТВО»

<sup>1</sup> Отрывок в переводе Л. Н. Толстого. Приводимый отрывок другой части из «Рассуждения о добровольном рабстве» был опубликован отдельным изданием вместе со статьей Л. Н. Толстого «Патриотизм и правительство» (СПб., «Обнозление», 1906). Брошюра была конфискована, и ответственный редактор издательства Н. Е. Фельтен арестован и привлечен к судебной ответственности. Равным образом пострадали и многие лица, у которых находили эту брошюру. Титульный лист этого издания см. стр. 123. Этот же отрывок был вставлен Толстым ранее в его статью «Единое на потребу» как III глава.

#### МОНТЕНЬ О ЛА БОЭСИ

<sup>1</sup> Монтењ о Ла Боэси. Все печатаемые под этим подзаголовком материалы должны служить выяснению тех споров, которые по сей день ведутся по поводу «Рассуждения о добровольном рабстве» и касаются прежде всего правильного понимания характера памфлета Ла Боэси. Свидетельства Монтења, ближайшего друга Ла Боэси, заслуживают в этом отношении особенного внимания. В частности, они дают возможность проследить зарождение попытки трактовать это произведение, как литературное упражнение на заданную тему.

#### Опыт XXVIII. О дружбе

<sup>2</sup> Опыт XXVIII. О дружбе. Это тот памятник дружбы, который Монтењ воздиг в «Опытах» своему покойному другу. Многими исследователями этот «Опыт» считается лучшим из всего произведения Монтења. Мы помещаем его потому, что

он содержит чрезвычайно ценные данные, касающиеся «Рассуждения о добровольном рабстве». Здесь мы находим крайне важные сообщения Монтеня о том, как он дважды собирался напечатать «Рассуждение о добровольном рабстве» и чем была вызвана перемена в его намерениях; наконец, здесь имеется очень решительно подчеркнутое заявление Монтеня, что взгляды, изложенные в «Рассуждении», представляют подлинные убеждения Ла Боэси, который, если бы это зависело от него, предпочел бы родиться в республиканской Венеции, а не в монархической Франции.

Перевод сделан с текста «Опытов», установленного Жаном Платтаром (см. Michel de Montaigne. Oeuvres complètes, Essais, livre premier. Paris, 1931. стр. 61—78).

<sup>3</sup> *Desinit in piscem mulier formosa superne.*

«...чтобы прекрасная женщина сверху  
Кончилась снизу уродливой рыбой...»

(Гораций. Полное собр. соч. Наука поэзии, М.—Л., 1936, стр. 341).

<sup>4</sup> Это — *рассуждение*, которое он назвал «Добровольное рабство», но те, кто этого не знали.. Таким образом, мы имеем важное заявление Монтеня, что название «De la Servitude Volontaire» — «Рассуждение о добровольном рабстве» — было дано самим Ла Боэси. Говоря о тех, кто этого не знал, Монтень имеет в виду гугенотов, напечатавших в 1576 г. «Рассуждение» под названием «Le contr'Un» — среди ряда своих противоправительственных памфлетов в сборнике «Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX».

<sup>5</sup> Он написал его в виде опыта в ранней молодости. «Не достигнув восемнадцатилетнего возраста», гласили первые издания монтеневских «Опытов». Однако, редактируя незадолго до смерти (Монтень умер в 1592 г.) свои «Опыты» для нового издания их, Монтень зачеркнул названную цифру, написав вместо нее слово «шестнадцать». Таким образом, Монтень внес свою поправку примерно четверть века спустя после смерти своего друга.

<sup>6</sup> нескольких мемуаров... о январском эдикте..., которые еще, может быть, будут когда-нибудь опубликованы... Имеется в виду январский эдикт 1562 г., предоставивший гугенотам в известных границах право на отправление их богослужения. Эти статьи — два мемуара Ла Боэси, найденные французским исследователем Полем Бонефоном, были им впервые опубликованы в 1917 г. в журнале «Revue d'histoire littéraire de la France».

<sup>7</sup> за исключением той книжечки, которую я уже издал. Имеется в виду небольшая книжечка (в 131 страницу), которую Монтень в качестве литературного душеприказчика Ла Боэси выпустил в 1571 г. в Париже, у издателя Федерика Мореля. Она содержала обращение Монтеня к читателю (см. прим. 1, стр. 194), несколько переводов классических авторов: Ксенофона «О домоводстве», Плутарха «Правила брака», его же «Утешительное письмо жене», — а также латинские

и французские стихотворения Ла Боэси, несколько писем Монтеня с посвящениями разным лицам (о них см. ниже, стр. 194—195) и отрывок из письма Монтеня об обстоятельствах болезни и смерти Ла Боэси (см. стр. 154—170). Титульный лист этого издания см. стр. 140.

<sup>8</sup> Аристотель утверждает, что хорошие законодатели больше заботились о дружбе, чем о правосудии. Это высказывание Аристотеля приводится в «Этике Никомаха» (см. Aristoteles. Nikomachische Ethik, VIII, 1. Leipzig, 1921, стр. 162).

<sup>9</sup> Аристипп. Греческий философ; родился ок. 430 г. до нашей эры в африканском городе Кирене. Сообщаемый Монтенем эпизод приводится у Диогена Лаэрция в его «Жизни Аристиппа» (см. Diogène de Laerte. Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité, t. I. Paris, 1847, стр. 101).

<sup>10</sup> взять хотя бы того, которого Плутарх хотел заставить помириться со своим братом. Приводится в трактате Плутарха «О братской дружбе» (см. Plutarchi Chaeronensis varia scripta quae moralia vulgo vocantur, Lipsiae, t. III. De fraterno amore, IV, стр. 294).

|| *et ipse  
Notus in fratres animi paterni.*

«Нежного отца заменив для братьев» (Гораций. Полное собр. соч. Оды, II, 2. М.—Л., 1936, стр. 59).

<sup>12</sup> *neque enim est dea...*

«..и знает меня та богиня,  
что умеет с тоской сладкую горечь мешать»

(см. Стихотворения Катулла в переводе А. Фета. Эпиграммы, LXVIII, М., 1886, стр. 108).

<sup>13</sup> *Come segue la lepre il cacciatore...* «Когда, не обращая внимания на солнечный зной или суровую изморозь, охотник схватывает зайца, за которым гнался по равнине или по горам, он тотчас же кидает его и мчится за другой добычей, угевающей от него» (см. Ариост. Неистовый Роланд, песнь десятая. СПб., 1892, стр. 91).

<sup>14</sup> *Ottimo amicitiae...* «О дружбе можно с полным правом судить лишь с возрастом, когда сформировались и сложились характеры» (см. M. Tullii Ciceronis. Laelius. De Amicitia liber ad T. Romponium Atticum, XX, 74. Lipsiae, 1879, стр. 167).

<sup>15</sup> Он написал великолепную латинскую сатиру, напечатанную... Она была опубликована Монтенем в том собрании произведений Ла Боэси, которое он выпустил в 1571 г.

<sup>16</sup> он был несколькими годами старше меня... Исключительная дружба Монтеня с автором «Рассуждения» завязалась, когда Ла Боэси было 28 лет, а Монтеню 25.

<sup>17</sup> Когда Лелий в присутствии римских консулов... Весь этот эпизод рассказан у Цицерона (см. M. Tullii Ciceronis. Laelius. De Amicitia liber ad T. Romponium Atticum, XI, 36. Lipsiae, 1879, стр. 157).

<sup>18</sup> «Люби своего друга так...». Источником Монтеня является, повидимому, древнеримский писатель Авл Геллий (II век нашей эры), который в своих «Аттических ночах», приводя эпизод с Блоссием, приписывает эти слова Хилону (см. «Авла Геллия Афинских ночных записки», I, 3, М., 1787).

<sup>19</sup> излюбленное изречение Аристотеля. Приводится у Диогена Лаэрция в его «Жизни Аристотеля» (см. Diogène de Laertie. Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité. t. I, I. V. Paris, 1847, стр. 222).

<sup>20</sup> по весьма меткому определению Аристотеля. См. Diogène de Laertie. Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité, t. I, I. V. Paris, 1847, стр. 221.

<sup>21</sup> Когда философ Диоген нуждался в деньгах... Приводится у Диогена Лаэрция в его «Жизни Диогена Синопского» (см. Diogène de Laertie. Vies et doctrines des philosophes de l'antiquité, t. II, I. VI. Paris, 1847, стр. 23).

<sup>22</sup> Евдамид, коринфянин, имел двух друзей. Этот пример заимствован Монтенем у Лукиана (см. Лукиан. Собр. соч., т. I. Токсарид, или О дружбе, М., 1935, стр. 301—302).

<sup>23</sup> отвёг того молодого воина, который на вопрос Кира... Приводится в «Киропедии» Ксенофона (см. Сочинения Ксенофonta, Киропедия, кн. восьмая, гл. 3, строки 26—27. Киев, 1878, стр. 269).

<sup>24</sup> *Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facio, face.* «Мне нужно так. Ты поступай по-своему» (Теренций. Комедии. Самоистязатель, акт I, сц. I, строка 80. М.—Л., 1934, стр. 145).

<sup>25</sup> как тот, кто, будучи застигнут во время игры со своими детьми верхом на деревяшке. Имеется в виду спартанский царь Агесилай. Эпизод этот приводится у Плутарха в жизнеописании Агесилая (см. Plutarchi Chaeronensis quae extant omnia. Agesilaus, стр. 610).

<sup>26</sup> *Nil ego contulerim jucundo sanus amico.* Нет! покуда я в здравом уме, ничего не сравняю я с другом (Гораций. Полное собр. соч. Сатиры, кн. первая, 5, строка 45. М., 1936, стр. 224).

<sup>27</sup> *Quem semper acerbum...*

«День уже пришел (если я не ошибся), что вечно прискорбным,  
Чести достойным всегда (так боги хотели) мне будет».

(Вергилий, Энеида, кн. V, строки 49—50. М., 1933, стр. 136).

<sup>28</sup> *«Nec fas esse ulla me voluptate hic frui decrevi...*

|| «...решил,  
Нельзя мне наслаждаться удовольствием,  
Покамест сын не примет в нем участия»

(Теренций. Комедии. Самоистязатель, акт I, сц. I. строки 147—149. М.—Л., 1934, стр. 148).

<sup>29</sup> *Illam meae si partem animae tulit...*

«Но если б раньше смерть унесла тебя  
Моей души часть, с частью другой зачем  
Себе не мил, уже калека —  
Медлить я стал бы? Тот день обоим  
Принес бы гибель...»

(Гораций. Полное собр. соч., Оды, II, 17. М.—Л., 1936, стр. 80).

<sup>30</sup> *Quis desiderio sit pudor aut modus...*

«Можно ль меру иль стыд в чувстве знать горестном  
При утрате такой?...»

(Гораций. Полное собр. соч., Оды, I, 24, строчки 1—2. М.—Л., 1936, стр. 36).

<sup>31</sup> *O misero frater ademptie mihi!..*

«...О я несчастный, зачем, брат мой, ты взят у меня,  
Ты, умирая, мой брат, мне все счастье разрушил,  
Вместе с тобой теперь весь мой и дом погребен,  
Все с тобой заодно погибли мои наслаждения,  
Что ты при жизни своей сладкой любовью питал.

• • • • • . . . . .  
Стану ль с тобой говорить? Услышу ль твои похождения?  
Иль никогда уж тебя, жизни милейший мне брат,  
Более не увидать? Но вечно любить тебя буду...»

(Стихоговорения Катулла в переводе А. Фета. М., 1886, стр. 108, 96).

<sup>32</sup> послушаем этого юношу 16 лет. В первых изданиях «Опытов»: «18 лет» (см. прим. 5, стр. 190).

<sup>33</sup> это произведение было тем временем опубликовано, и с дурным умыслом... Монтень имеет в виду гугенотский сборник «Mémoires de l'Etat de France sous Charles IX», в одном из выпусков которого было напечатано «Рассуждение о добровольном рабстве».

<sup>34</sup> он предпочел бы родиться в Венеции, а не в Сарла. Имеется в виду, что Ла Боэси предпочел бы родиться в республиканской Венеции, а не в монархической Франции, хотя в действительности Венеция отнюдь не была той идеальной республикой, о которой мечтали гуманисты, а представляла собой безраздельное господство купеческой олигархии.

<sup>35</sup> вместо этого серьезного произведения я помещу здесь другое... Монтень поместил в своих «Опытах» 29 сонетов Ла Боэси, которые составили двадцать девятую главу первой книги «Опытов». Эти стихи печатались во всех изданиях «Опытов», вышедших при жизни Монтена. И только незадолго до смерти, подго-

тволяя новое издание своей книги, делая к ней исправления и добавления, Монтень зачеркнул эти сонеты и написал: «Эти стихи имеются в другом месте».

### Обращение к читателю

<sup>1</sup> *Обращение к читателю.* Этим обращением к читателю открывается та книжечка произведений Ла Боэси, которую Монтень издал в 1571 г. (см. прим. 7 на стр. 190). Оно интересно с той точки зрения, что в нем Монтень объясняет, почему он не включил «Рассуждение о добровольном рабстве» в изданные им произведения Ла Боэси.

<sup>2</sup> автор «Древностей Буржа»... Монтень имеет в виду вышедшую в 1565 г. работу Эли Вине (Elie Vinet), соотечественника Монтеня и Ла Боэси, занимавшегося историей провинций Берри и Гиенъ. Стихотворений Ла Боэси в этой работе нет. Эли Вине лишь ссылается на известные ему стихи Ла Боэси, которые, повидимому, нигде не были напечатаны, либо Монтень пишет, что он не знает, «что со всем этим сталося».

<sup>3</sup> «Мемуаров... в связи с январским эдиктом 1562 года». См. прим. 6 на стр. 190.

<sup>4</sup> я нахожу их построение слишком деликатным... чтобы подвергать их действию резкого и буйного ветра теперешней непогоды. Монтень имеет в виду ожесточенную гражданскую войну, происходившую в это время во Франции.

### Письмо господину де Ланзак

<sup>1</sup> *Письмо господину де Ланзак.* Луи де Сен-Желе, сеньор де Ланзак, политический и военный деятель при дворе Карла IX. Пользовался особым доверием у королевы-матери, Екатерины Медичи, и потому ему давались важные дипломатические поручения в разных странах — Италии, Испании, Германии. Ланзаку неоднократно приходилось иметь дело с бордоским парламентом, когда советником его был Ла Боэси. Так состоялось их знакомство. Вот почему Монтень пишет Ланзаку, что тот мог ценить Ла Боэси только на основании его общественных заслуг, т. е. зная его только по служебной линии. Это письмо, как и остальные, печатаемые ниже, представляет интерес с точки зрения той характеристики, которую Монтень дает Ла Боэси.

<sup>2</sup> эту вторичную свою форму... Имеется в виду перевод на французский язык.

### Письмо господину де Мем

<sup>1</sup> *Письмо господину де Мем.* Анри де Мем (1532—1596), видный военачальник и государственный деятель, занимавший одно время пост канцлера Франции. В правление Генриха III отошел от политических дел. Друг Монтеня и покровитель многих ученых — своих современников. Славившийся своей эрудицией Анри

де Мем имел намерение написать пункт за пунктом опровержение «Рассуждения о добровольном рабстве». С этой целью он сделал выборку из имевшейся у него рукописи «Рассуждения» и составил подробный план своей работы. См. факсимile «Извлечение Анри де Мема из книги Ла Боэси для ответа на нее», стр. 143. Однако намерение де Мема осталось неосуществленным. Монтен пересыпал при этом письме де Мему «Правила брака» Плутарха в переводе Ла Боэси.

#### Письмо господину Лопиталю

<sup>1</sup> *Письмо господину Лопиталю, канцлеру Франции.* Мишель Лопиталь (1507—1573) учился в Падуе и был некоторое время преподавателем права в тамошнем университете. В 1535 г. возвратился во Францию и занял место в парижском парламенте. Со времени начала гражданских войн 60-х годов XVI века был главой так называемой партии «политиков», считавших, что государственные интересы должны стоять выше религиозных распри. Эту линию Лопиталь старался проводить и на посту канцлера Франции (с 1560 г.), но потерпел неудачу и вынужден был совершенно устраниться от политических дел.

Письмо Монтеня к Лопиталю интересно с той точки зрения, что оно свидетельствует о близких отношениях с Лопиталем Монтеня и Ла Боэси; кроме того, в нем весьма выразительно подчеркнуто неоднократно высказывавшееся Монтенем мнение о том, что Ла Боэси не был надлежащим образом оценен в своей стране и прозябал на второстепенных государственных ролях.

По свидетельству Монтеня, Лопиталь, которого называли «вторым Горацием», был одним из лучших латинских поэтов своего времени; вот почему Монтен и посвящает ему, как знатоку и ценителю поэзии, латинские стихи своего покойного друга.

#### Письмо господину де Фуа

<sup>1</sup> *Письмо господину де Фуа.* Поль де Фуа, граф де Кармен (умер в 1584 г.) — видный политический деятель эпохи гражданских войн XVI в. Был послом Франции в Англии, Шотландии, Венеции и Риме. Пользовался репутацией эрудита и большого ценителя поэзии. В связи с этим Монтен и посвящает ему французские стихотворения Ла Боэси.

<sup>2</sup> их не нашли там... В Париже, куда специально поехал Монтен для издания этих стихов.

<sup>3</sup> всей этой округи в услов... Имеется в виду провинция Гиенъ.

#### Отрывок из письма, написанного господином Монтенем своему отцу

<sup>1</sup> *Отрывок из письма, написанного господином Монтенем своему отцу...* Отрывок содержит важные данные для характеристики Ла Боэси и его взаимоотношений с его близкими, а также с Монтенем.

<sup>2</sup> во время игры с господином д'Эскар... Франсуа де Пейрюс, барон д'Эскар, королевский наместник в Гиени с 1559 г.

<sup>3</sup> Жерминьян. Деревня на небольшом расстоянии к северо-западу от города Бордо. Ла Боэси остановился здесь и умер в усадьбе зятя Монтея, Ришара де Лестоннак.

<sup>4</sup> со своим дядей, господином де Буйонна. Дядя Ла Боэси, которого тоже звали Этьеном Ла Боэси, прежде чем стать священником в Буйонна, с 1517 по 1523 г. изучал право в Тулузе, в колледже Сен-Марсиаль, и получил степень бакалавра права. Он позаботился о том, чтобы рано осиротевший Ла Боэси, которому он заменил отца, получил прекрасное по тому времени образование.

<sup>5</sup> будет... *μνημόσιουν tui sodalis*. Будет... памятью о твоем друге.

<sup>6</sup> *Sunt haec quae hominibus vocantur bona*. И это то, что люди называют своими благами.

<sup>7</sup> Подписав затем завещание... Дошедшее до нас и неоднократно опубликованное завещание Ла Боэси было им подписано в субботу 14 августа 1563 г.; Монтея ошибочно датирует его воскресеньем 15 августа.

<sup>8</sup> свою племянницу, мадемуазель де Сен-Кантен... Это была дочь сестры Ла Боэси Анны, вышедшей замуж за Жана Ле Биго, сеньера де Сен-Кантен.

<sup>9</sup> он велел позвать к себе свою падчерицу, мадемуазель д'Арсак... Жена Ла Боэси Маргарита де Карль имела от первого брака двух детей: сына Гастона и дочь Жакет, о которой идет речь в тексте.

<sup>10</sup> он позвал моего брата, господина Борегара... Это был младший брат Мишеля Монтея, Тома де Монтея, сеньер де Борегар, женившийся вскоре после смерти Ла Боэси на его падчерице, Жакет д'Арсак.

<sup>11</sup> «Это моя юношеская»... «Вода превосходна» — этими словами начинается первая «Олимпика» Пиндара (см. Пиндар, переведенный с греческого языка И. Мартыновым. СПб., 1827, стр. 154).

<sup>12</sup> «*Ingenui est, cui multum debeas, ei plurimum velle debere*», «Благородному человеку свойственно желание быть больше всего обязанным тому, кому он уже многим обязан» (см. Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким... М.—Л., изд-во АН СССР, 1949, стр. 344—345).

<sup>13</sup> он сказал, обращаясь к господину Бело: «*An vivere tanti est?*» Жан де Бело, сеньер де Помье, был, так же как и Ла Боэси, советником бордосского парламента. «Стоит ли всего этого жизнь?»

<sup>14</sup> «*Non homo, sed species hominis*». «Не человек, а подобие человека».





## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Титульный лист французского издания сборника «Le Réveille-Matin des François» . . . . .	47
Титульный лист «Рассуждения о добровольном рабстве» в издании Парижской Национальной библиотеки с предисловием Вермореля, которым пользовался Л. Н. Толстой . . . . .	113
Титульный лист брошюры, содержавшей отрывок из «Рассуждения о добровольном рабстве» в переводе Л. Н. Толстого, изданный вместе со статьей Л. Н. Толстого «Патриотизм и правительство» . . . . .	123
Титульный лист изданных Монтенем в 1571 г. произведений Ла Боэси . . . . .	140
Сверху: автографы Этьена Ла Боэси и его отца Антуана Ла Боэси; внизу — факсимиле «Извлечение Аири де Мема из книги Ла Боэси для ответа на нее» . . . . .	143
Титульный лист стихотворений Ла Боэси, изданных Монтенем . . . . .	150
Дом в Сарла, в котором родился Этьен Ла Боэси . . . . .	155
Страница из доклада Этьена Ла Боэси . . . . .	167







## СОДЕРЖАНИЕ

РАССУЖДЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ РАБСТВЕ . . . . .	5
Отрывок из трактата Ла Боэси «Рассуждение о добровольном рабстве» (вариант) . . . . .	43
Отрывок, напечатанный во французском издании сборника «Le Réveille-Matin des François» . . . . .	45
ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . .	57
Трактат Ла Боэси о добровольном рабстве.—Ф. Коган-Бернштейн . . . . .	59
Лев Николаевич Толстой и Ла Боэси.—Ф. Коган-Бернштейн . . . . .	94
Отрывок из трактата Ла Боэси в переводе Л. Н. Толстого, помещенный в его книге «Круг чтения», т. I . . . . .	111
Отрывок из трактата Ла Боэси в переводе Л. Н. Толстого, опубликованный вместе с его статьей «Патриотизм и правительство» . . . . .	121
Монтень о Ла Боэси:	126
Опыт XXVIII. О дружбе . . . . .	126
Обращение к читателю . . . . .	139
Письмо господину де Ланзак . . . . .	141
Письмо господину де Мем . . . . .	143
Письмо господину Лопиталю . . . . .	145
Письмо господину де Фуа . . . . .	148
Отрывок из письма, написанного господином Монтенем своему отцу . . . . .	154
Комментарий . . . . .	171
Список иллюстраций . . . . .	197



*Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Академии Наук СССР*

♦

*Редактор издательства Я. Б. Коин  
Технический редактор Н. П. Аузан  
Корректор Е. И. Чукина  
Оформление художника И. Ф. Рерберга*

♦

РИСО АН СССР № 4692. Т-09870. Издат. № 3240.  
Тип. заказ № 1299. Подп. к печ. 24/XII 1954 г.  
Формат бум. 70×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.; Печ. л. 14,62. Бум. л. 6,25.  
Уч.-издат. 11,25. Тираж 3000.

*Цена в переплете 11 руб.*

*2-я тип. Издательства Академии Наук СССР  
Москва, Шубинский пер., д. 10*

